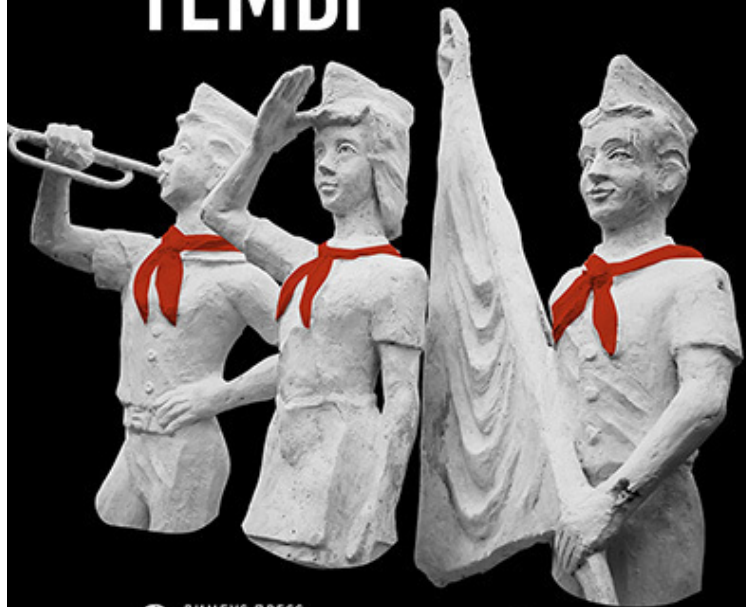


Сергей Носов  
**ЗАКРЫТИЕ  
ТЕМЫ**



 ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург



# Сергей Анатольевич Носов

## Заккрытие темы

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=40721183](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40721183)*

*Заккрытие темы: рассказы / Сергей Носов: Культ-информ-пресс;*

*Санкт-Петербург; 2019*

*ISBN 978-5-8392-0705-9*

### **Аннотация**

Сергей Носов, известный любитель парадоксов, включил в свою новую книгу тексты, прежде не встречавшиеся под одной обложкой. О чём же может рассказывать книга с таким бесцеремонным названием? Ясное дело – о завихрениях и вывихах жизни, о странных героях в нелепых обстоятельствах, о том, о чём каждый раз со сдержанной иронией и тихой грустью рассказывает Носов читателям в своих историях.

# Содержание

Тёмное время, или Слепая печать	5
Часть первая	15
Архитектурные излишества	15
Комиссарова ночь	42
День любви	62
Лунное затмение	81
Тут на горе...	94
Конец ознакомительного фрагмента.	115

**Сергей Носов**  
**Заккрытие темы. По**  
**большей части рассказы**



© Сергей Носов, 2018

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018

© А. Веселов, оформление, 2018

# Тёмное время, или Слепая печать

## *Вместо предисловия*

В одном моём романе есть второстепенный персонаж, сумасшедший, которого принимают за профессионального иллюзиониста (сам себя он именуется Архитектором Событий). Боясь, что его заподозрят в гибели некоего Водоёмова (скоропостижная смерть), он, заговариваясь, объясняет: «Я не работаю на близких расстояниях. Вы наверняка помните уравнение Эйнштейна – с космологической постоянной... Ничтожная величина, нуль почти, но на больших расстояниях такие даёт показатели!.. Но только на очень больших! Никак не на малых!.. Полная со мной аналогия. Я как тёмная энергия, понимаете? Могу воздействовать на события в Центральной Африке, могу... и не просто могу-я воздействую!.., на ход избирательной кампании в США, но воздействовать на Водоёмова я в принципе не был способен, даже если бы захотел, он – близко был, он здесь был. А мои воздействия тем сильнее, чем дальше объект...»

К чему это тут, я скажу чуть позже. А сейчас – о книге, которая перед вами. В неё вошли сочинения из моих давних двух книг, изданных в прошлом тысячелетии, – «Внизу, под звёздами» и «Памятника Во Всём Виноватому». О первой говорить ничего не буду – книга как книга. А вот судьба

второй мне мнится удивительной, горестной, несуразной, абсурдной. Ощущать себя автором такой примечательной книги и отважно переживать своё это авторство – опыт, вам доложу, тоже необыкновенный. Им и хочу поделиться.

Так вот.

В первую половину девяностых было в Петербурге издательство, которое называлось «Белл» – вроде как герценский «Колокол», но литературу как таковую не издавало, а печатало рекламные буклеты, плакаты и тому подобное. Говорили, что у них была лучшая в городе полиграфическая база, и это похоже на правду, потому что, например, заказ на оформление Игр Доброй Воли достался им, чем в «Белле» гордились. И вот однажды руководству издательства попался на глаза мой рассказ «Закрытие темы», года за полтора до того напечатанный в газете «Петербургский литератор». Тема, которая будто бы тогда «закрывалась», остаётся и сейчас не закрытой – для нас это «вечная тема». А тогда моё сочинение произвело на руководство «Белл» такое впечатление, что там решили взяться ещё и за художественную литературу и начать с меня: мне предложили составить книгу рассказов. Я составил книгу, но включил в неё помимо рассказов ещё и пьесу, разбитую на куски, что-то вроде эссе и даже стихи, назвал всё это по одному из текстов «Памятником Во Всём Виноватому» и дал общий подзаголовок: «Тексты для чтения».

Вероятно, мрачно-саркастическое настроение этих «тек-

стов для чтения» передалось и самим издателям: воодушевившись, они придумали издавать книги в единой серии с апокалипсическим названием «Последняя русская литература». Ничего удивительного – в то смутное время и у богатых предпринимателей, и у бедных сочинителей возникали недобрые предчувствия. А что до такой материи, как русская литература, её многие хоронили, а некоторые и поминали по-тихому.

Обложку книги моей заказали у прекрасного художника Александра Аземши.

Планы были серьёзные – издавать хотели лучшее. Обратились, например, к Александру Зиновьеву с предложением, и он из Германии ответил согласием, испросив за не известный в России роман символический гонорар.

Увы, этим планам не суждено было сбыться.

Ибо «Последняя русская литература» на мне и закончилась.

Книга моя вышла, но я так и не знаю, можно ли считать это издание осуществлённым.

Потому что вышла она с невероятным полиграфическим браком – тот, кому доводилось печатать на машинке, поймёт: представьте себе пятаю под копирку закладку, только уменьшите буквы в несколько раз. Слепая печать!

И так во всём тираже – все страницы в любом экземпляре!

Как такое могло получиться в издательстве с лучшей в городе полиграфической базой!? – этого никто объяснить не

мог, даже сами себе – издатели. Поговаривали, что курьер завёз «плёнки» не в ту типографию, или что-то типа того (напомню: надворе были 90-е годы).

Меня одновременно поздравляли и выражали сочувствие. Да, конечно, читать невозможно, но всё-таки – книга!., всё-таки – вышла!.. А вот время пройдёт, и каждый экземпляр обретёт особую ценность – ну, как если бы почтовая марка с ошибкой!

И потом, посмотри сам, говорили мне, что сейчас издают, а у тебя, хоть и трудно прочесть, но ведь всё же тексты – «для чтения»!

Жена тоже меня утешала, хотя и корила слегка: это, дескать, тебе за твою любовь к абсурду. А друг-сочинитель говорил: сам виноват – не надо было выёживаться, вот сказал, что тексты для чтения, и накликал на них нечитабельность.

Магазины, конечно, от книги категорически отказались, в продажу она не поступала. Только несколько экземпляров, скрепя сердце, взяла «Книжная лавка писателей», что на Невском проспекте. В «Лавке писателей» оценили мой бракованный «Памятник» в один рубль, который тогда ещё что-то стоил, и поставили в дальний угол на самую верхнюю полку. Там «Памятник» простоял несколько лет. А в стране в эти годы была инфляция. Даже – гиперинфляция. И всё дорожало, всё-всё – кроме моей книги. Уже рулон туалетной бумаги стоил 2.70, а моя книга – по-прежнему, рубль. И тогда я не выдержал и скупил сам всё, что было в продаже. Об-

щей стоимостью в три или четыре рулона.

Нет, был один отрадный момент: в Публичной библиотеке, куда книга всё же попала, попросили меня поставить на ней автограф.

Договора с издателями никакого не было. В то время у нас как-то всё без договоров решалось. Сначала мне издатели честно хотели отдать только десять авторских экземпляров, но, когда почувствовали, что книготорговцы не возьмут, сказали, что отдают весь тираж – 2000 экземпляров. Привезли домой, выгрузили во дворе – я пачки таскал в квартиру. Сколько их там, 50 или 100 – не помню, рассовал я их по углам, поместилась большая часть под кроватью.

Однажды в нашей старой квартире прочистили дымоход, и стал я не только дровами печь топить, но и своими книгами. А куда их деть? Они плохо горят, но если изноровиться, и ими можно топить. Так и сжёг весь тираж, кроме пачки-другой.

Прошли девяностые, начались нулевые.

Почти одновременно вышли у меня два романа, и стали издатели у меня просить что-нибудь – то в журнал, то в сборник, то в антологию. И оказались востребованными те самые рассказы, лет десять-пятнадцать назад написанные. И стали их печатать.

И стали спрашивать меня: а когда это вы написали?.. а почему не публиковали раньше?., а почему мы вас не знали?

А некоторые рассказы переводить стали – это уже во вто-

рой половине нулевых. А критик Вячеслав Курицын, прочтя рассказ «Набоб», усмотрел в нём травестию Борхеса («автор просто ушиблен идеей сниженной борхесианы»), и такое вдруг написал: «Высшая справедливость есть: особенности таланта зазеркалились и в судьбе... В 1994 году вышла книга текстов Носова, которую никто не увидел, вернее, не прочёл: весь тираж оказался слепым, как всё тот же Борхес».

Борхеса я люблю, но такое про книгу мою и про Борхеса мне бы в голову никогда не пришло.

Ладно с Борхесом, он на совести Курицына, но что меня удивило в этом пассаже, Курицын затронул тему слепоты, а этим я действительно был тогда «ушиблен».

Ну, не слепота в прямом смысле, а подслеповатость – в метафорическом, это меня тогда очень занимало и беспокоило в моих героях.

Вам никогда не кажется, что за вами кто-то наблюдает? Может быть, даже из другого измерения?

Не кажется. И это хорошо.

И моим героям не кажется. Хотя как раз за ними есть кому наблюдать.

За ними есть кому наблюдать, а им не кажется.

За ними наблюдает читатель. Только они этого не знают.

Я уже молчу про автора-рассказчика, который их ведёт по жизни, но ведь и он тоже по-любому читатель, причём активный (ему ещё и вычитывать приходится, править), – но где уж знать об этом персонажам!..

В прямом смысле они у меня зрячие, а некоторые почитают себя дальновидными. Как и мы себя почитаем достаточно дальновидными – в нашей реальности. А увидеть нашу подслеповатость (и их, и нашу) способен Читатель. Если таковой есть.

И если это ему интересно.

Я уже не помню, почему меня по молодости так занимала эта авторская стратегия – создавать ситуации, когда читатель видит больше, чем персонаж. А иногда даже больше, чем рассказчик, как в рассказе «Лунное затмение», где приём утрирован до предела (впрочем, там рассказчик и есть персонаж, повествование затеяно от первого лица).

Буквально сейчас (в «Борее», где пишу эту страницу) услышал цитату из Юрия Дышленко, героя ленинградского андеграунда: «Я пришёл в этот мир, чтобы достойно проиграть сражение с неопределённостью. Надо уметь проигрывать». Вот-вот, и мои герои, возможно, захотели бы так сказать, если бы знали они, зачем пришли и с чем сражаются (да и вообще – что сражаются), иными словами: если бы знали они – кому проиграли.

Нет большей нелепости, чем объяснять собственные тексты.

А с другой стороны – любую нелепость можно превратить в приём. И то, чем я занят в этом предисловие, мне самому напомнило мою же «Трубу». Жанр текста – «остатки романа». Сочинил я тогда ситуацию: некий автор будто бы на-

писал роман-роман неудачный, «наивный», он его забросил (буквально – куда-то за шкаф), а спустя годы нашёл, стал перечитывать, увлёкся и решил пересказать – своими словами, словами уже другого, теперешнего человека. Мне тогда была интересна сама ситуация реинкарнации текста – во взаимодействии героя с самим собой прежним, и при этом мотивированная на самом реалистическом бытовом уровне.

Конечно, всё выдуманно – и герой, и будто бы когда-то написанный роман, и ситуация пересказа со «взаимодействием». Читатели, к моей обескураженности, решили, что «остатки романа» – роман автобиографический. Теперь всё время так: если пишешь от первого лица, значит о себе. А если не о себе, зачем от первого? И зачем тогда так правдоподобно?

Остаётся объяснять, что правдоподобие, с поправками на художественную условность, это неперемное условие любого художественного текста. И если я ничего не понимаю в хлебопечении, а пишу о пекарях, моя задача написать так, чтобы читатель поверил, что я в этой области корифей.

«Труба» была задумана – именно как «остатки романа» – во второй половине восьмидесятых. Дописана примерно в 90-м. Напечаталась она, но не пропечаталась – в той слепой книжке-в 1994-м, и я только в сию минуту (печатая эту фразу вот прям-таки сейчас на ноутбуке) понимаю, насколько пророческими были (никогда не думал об этом) последние слова текста: «В огонь тебя, в огонь!» – пророческими по от-

ношению ко всей слепой книге.

А спустя четверть века, хороший срок, «Трубу» опубликовал журнал «Звезда» – просто как текст – стало быть, пример литературы текущей, а не «памятник прежних лет». И отнеслись к этому тексту как, соответственно, тексту текущей литературы. Что несколько польстило авторскому самолюбию.

Получается, что у текстов тех лет – у каждого своя судьба, а общая их судьба-это то, что в начальный момент их как бы и не было. Ну, если никто не заметил – то было ли оно?

Конечно, не было.

А когда оно стало? А вот когда оно стало. А вот в новейшее время.

А потому моё старое – это новое. Разумеется, новое – что в нём старого?

И вот возвращаясь, по логике наших рассуждений, к тому сумасшедшему из моего романа...

Если бы он решил, что он – это не он, а он – это я, как бы он высказался на данную тему?

Без меня он себя (в том романе) воображает *тёмной энергией*, обуславливающей антигравитационные (расталкивающие в пространственном измерении) силы, тем во вселенском масштабе замечательные, что, чем дальше от источника сил, тем сильнее их влияние.

А вообрази он себя мною, он бы, наверное, решил, что в нём живёт *тёмное время*, поначалу ничем себя не изъясляет

высказывание, а чем дальше по времени от него, тем оно как будто заметнее.

Оно, конечно, в каждом сочинителе – мании величия синдром – чуть-чуть, но мерцает. Ваш покорный слуга других не хуже.

Только тут сейчас речь не о сочинителе, а о замещающем сочинителя сумасшедшем.

Но на то я и есть я, что я это я, а сумасшедший не я, а он. Мой персонаж, причём не из этой истории.

Но с другой стороны, как посмотришь на нашу реальность...

Ну а что реальность-то? И зачем на неё смотреть предвзято?

Ничего особенного, наша реальность. Всё так.

А если что не так – так оно и есть: иллюзии.

# Часть первая

## Архитектурные излишества

### 1

Моя версия исчезновения Черенкова может показаться маловероятной. Думаю, однако, она не менее правдоподобна, чем любая другая легенда о Дмитрие Константиновиче, а таких в нашем институте бытует сколько угодно. В своё оправдание могу сообщить следующее: во-первых, я много размышлял о случившемся, во-вторых, сам побывал на месте событий и кое с кем разговаривал, в-третьих, я хорошо знаю Дмитрия Константиновича и по работе, и вообще... даже в некотором роде являюсь его... как бы это назвать... душеприказчиком, что ли (корректуря последнего сборника трудов института лежит у меня на столе...). Короче, я хочу сказать, что чувствую за собой моральное право на домысел: чем более я пытаюсь разобраться в этом странном и несколько жутковатом происшествии, тем более, кажется, понимаю Черенкова и сочувствую ему всем сердцем. Я хочу рассказать эту историю так, как она рисуется в моём

воображении.

## 2

Всеми причиной Фролов.

Был у Дмитрия Константиновича такой знакомый, некто Фролов, очень загадочная персона. Где они познакомились и когда, уже значения не имеет, тем более что знакомство их особой теплотой не отличалось, потому как относилось к роду шапочных знакомств и ни к чему не обязывало. Работал этот самый Фролов ночным сторожем в какой-то архитектурной организации. Он думал. Он много думал. Те, кто много думает, нередко работают сторожами.

В один прекрасный день, а точнее сказать, ночь, личная жизнь Фролова сложилась таким парадоксальным образом, что часы, отведённые на дежурство, он должен был провести в другом месте. Дмитрий Константинович тоже имел иногда обыкновение работать ночами и тоже, разумеется, за письменным столом, а потому обращение к нему с просьбой помочь выглядело вполне логичным.

Человек податливый, он согласился. Он и представить себе не мог, какие испытания ждут его впереди.

В условленный час они встретились на трамвайной остановке. Поздоровались. Сели на трамвай. Поехали.

Ехать пришлось далеко – до трамвайного кольца, где росли бурьян и крапива. Тут и стемнело, пока добирались. Ночь наступила.

Места в тех краях были глухими и неухоженными: то ли что-то там строили, то ли что-то ломали, а скорее всего, ничего не делали. Лишь деревья, шумевшие за карьером, напоминали о жизни.

По обе стороны размытой дождями дороги тянулись заборы, за ними ютились невзрачные постройки, тусклые светильники покачивались на ветру, и вот что надо особо отметить: справа от высоковольтной линии стояла какая-то мачта. «Какая-то мачта стоит», – подумал Дмитрий Константинович.

Участок Фролова оказался самым последним; дальше уже ничего не было – дорога упиралась в ворота, и слово «ТУ-ПИК», зачем-то начертанное на воротах, однозначно указывало на отсутствие перспективы.

Подлежащий охране объект утопал во мраке.

Фролов открыл дверь в сторожку, пропустил подменщика в комнату. Стол, стул и диван увидел Дмитрий Константинович. Он сказал:

– Хорошо. Мне нравится.

Всё, что требовалось от Черенкова, – это присутствие. Он мог читать, писать, спать крепким сном на мягком диване, в случае же прихода проверяющего Дмитрий Константинович должен был проснуться, когда проверяющий постучит в дверь, и тут же отметиться. Он должен был сказать, что он Фролов, а не Черенков – более от него ничего не требовалось.

Фролов достал из ящика стола «Журнал дежурств на объекте». Он записал в соответствующей графе: «Заступил на дежурство в 22:00. Нарушений порядка нет. Имущество на месте согласно описи. Фролов».

– Вот, – показал Фролов Черенкову опись имущества (она состояла из четырёх пунктов: 1. Аппарат телефонный. 2. Плитка нагревательная. 3. Занавеска ситцевая. 4. Чайник эмалированный). – Постарайся, пожалуйста, чтобы никуда не пропало.

– А остальное? – отнюдь не имея в виду стол, стул и диван, спросил Черенков.

– Остальное тебя пусть не волнует.

– Но ведь я охраняю не это?

– То, что ты охраняешь, никто не похитит.

– А всё-таки: что?

– Да так... Не бери в голову.

– Однако?

– Архитектурные излишества, – сказал Фролов, заметно

понижив голос. – Если ты захочешь осветить территорию, то рубильник около входа. Лично я предпочитаю, когда темно, так спокойнее.

Пожелав на прощанье спокойной ночи, Фролов удалился.

## 4

Оставшись один на один с самим собой, Дмитрий Константинович решил не терять зря времени. Он тут же сел за стол, извлёк из портфеля папку с тесёмочками и, положив перед собой чистый лист бумаги, глубоко задумался. Ему было о чём подумать. Он думал о будущей статье. Статья называлась «Культура инструктирования» и предназначалась она для сборника трудов института.

Надобно дать здесь одно разъяснение. Сознаюсь, написано оно канцелярским, далеко не художественным языком, и, возможно, таит в себе грех необязательности. Тот читатель, который сочтёт нужным пропустить следующую главу, пусть сделает это с чистой совестью.

## 5

Институт, в котором работал Черенков и в котором до недавнего времени работал я, занимается проблемами научной организации труда, в частности оптимизацией организа-

ционных процессов, традиционно связанных с делопроизводительски-ми издержками. Особое место при этом уделяется изучению вопросов инструктирования и консультирования как этапных моментов каких бы то ни было мероприятий. Уже упомянутый в начале повествования сборник трудов института, созданный по итогам последнего научно-практического семинара, даёт представление о некоторых направлениях коллективных поисков. Так, например, в одной из статей сборника отстаивалась идея бесперспективности оптимизации делопроизводства без реального единосистемного подхода к инструктированию и консультированию, причём не только в гранях утилитарных мер, но и в мере вещей онтологического порядка. Как раз наш отдел, то есть подразделение, в котором трудились мы с Черенковым, разрабатывало на этот счёт конкретные рекомендации. В другой статье, помнится, давался анализ психологических аспектов инструктирования и консультирования с учётом зависимости от степени взаимозависимости соподчинённых объектов того и другого, – несмотря на тавтологию в замысловатом названии темы, статья рассматривала весьма актуальные вопросы организации чего-либо. Разумеется, не позабыли и математические методы описания изучаемых процессов, например, приложения теории групп к инструктированию и консультированию, а также методы оптимального целого и алгоритмы с рекурсивными определителями. Я поступил бы несправедливо, если бы не упомянул дискуссионную статью

трёх заслуженных авторов (к сожалению, так в сборник и не вошедшую) «Прогрессивные методы проверки начинаний на инструктабельность, рекомендационность и перепроверяемость». Увы, исследования по этой, несомненно пионерской, теме несколько превысили компетенцию нашего учреждения. Что же касается Черенкова, то его работа в соответствии со своим названием посвящалась самым общим вопросам; по замыслу она должна была предварять все остальные публикации в сборнике, а потому ей следовало быть выдержанной в жанре «Вместо введения». Дмитрий Константинович умел сосредоточиваться, одиночество и тишина действовали на него вдохновляюще. И он, вероятно, славно бы поработал сегодня, если бы не одно обстоятельство: Черенкову стало любопытно узнать, что же он охраняет такое.

## 6

Итак: «Что же я охраняю такое?» – подумал Черенков, покидая сторожку. Он вышел на крыльцо. Воздух был чистым и влажным. Объект, подлежащий охране, утопал, как уже говорилось, во мраке. Лишь от фонаря со стороны дороги падал свет на ворота, да ещё прямоугольник окна отражался в крапиве.

Провода линии электропередачи напряжённо гудели над головой, но напрасно Черенков задирал кверху голову: ничего не было видно.

Ни проводов, ни звёзд, ни самого неба.

Капала вода из колонки, шелестели деревья листвою, где-то выла, должно быть, собака, Дмитрий Константинович стоял и слушал.

Появилась луна и тут же скрылась. «Луна – красавица ночная, – вспомнилось из далёкого детства, – луна – красавица небес, кусты руками раздвигая, разбойник крался через лес». Очень странная, грустная песня, они пели её на заднем дворе, когда он учился в третьем классе. Этот задний двор был пятым по счёту в сложной системе проходных дворов; кирпичной стеной он упирался в здание ведомственной больницы, здесь, на развалинах бывшего бомбоубежища, братья Занозы и маленький Черенков искали «фигню» и играли в ножички.

«Вдруг колокольчик однозвучный вдали негромко прозвучал, разбойник вышел на дорогу, в руке он острый нож держал».

Дмитрий Константинович поёжился. Ему показалось, что кто-то за ним наблюдает.

– Кто это? – спросил Черенков.

Никто не ответил.

Дмитрий Константинович взялся рукой за рубильник и потянул на себя, все светильники разом вспыхнули. Обернувшись назад, Дмитрий Константинович закричал от неожиданности: прямо на него из кустов сирени выходила голая женщина.

Однако он быстро совладал с собою. Женщина была не голая, а в купальнике, к тому же она не шла, а стояла на месте, слегка отставив назад ногу; рук у неё вообще не было, и было неясно, какая дьявольская сила удерживает торчащее из пьедестала весло. Дмитрий Константинович с брезгливой сосредоточенностью рассматривал статую. «Жуть, жуть, жуть», – повторял вслух Черенков. Наконец он оторвал свой взор от фигуры и, обратив его в глубь охраняемой территории, подумал, что спит. Всюду стояли они, аляповатые существа обоих полов – с вёслами, отбойными молотками, пионерскими горнами...

Прислонившись к забору боком, еле держалась на трёх ногах уродливая корова, – вместо четвёртой ноги торчал металлический прут. Рядом с ней, кто на животе, кто на спине, распластались дебелие футболисты; сверху их придавила аттическая колонна, перепиленная пополам. Головастые бюсты прятались в лопухах. Расчленённый мужчина, сложенный в кучку, индевел под осиной. Мальчик в трусах до колен держал в руке модель самолёта; он был непомерно огромен, широкоплеч, – против него убогим карликом смотрелся стрелок из винтовки.

Стараясь ступать бесшумно, затаив дыхание, Дмитрий Константинович обходил паноптикум. «Жуть, жуть», – гово-

рил он, и было действительно жутко. В самом дальнем, плохо освещённом углу он разглядел двух сельскохозяйственных тружениц, – одна, та, что стояла с граблями, казалась просто несчастной, но другая, с косою в руках, – эта напоминала Смерть.

Черенков побежал обратно.

## 8

Возвратясь назад, он счёл благоразумным закрыться на крюк.

Разумеется, Дмитрий Константинович был далёк от мысли ожидать гостей в образе гипсовых нелюдей, и всё же он струсил. Равно испугу он испытал чувство недоумения. Да что же это такое? Да зачем же это всё нужно? Да какого чёрта? Полноте, полноте, Дмитрий Константинович, спокойнее. Но чем более успокаивал себя Черенков, тем более нелепым представлялось ему своё пребывание на объекте.

Дмитрий Константинович достал бутерброд, любовно приготовленный супругой, налил из термоса чаю. Заморив червячка, он снова сел за работу, – прежнего вдохновения и след простыл, ничего дельного на ум не шло, а лезла в голову всякая глупость. Представлялось, например, как эти из гипса блуждают себе по участку, а то ещё лучше, затевают беседы друг с другом, жалуются на аляповатость, ущербность, никчёмность, спрашивают: «Кто это там сидит в сторожке?»

Что это ему от нас надо?»

И тут он увидел инструкцию. На ней стоял чайник.

## 9

«Каждый заступающий на дежурство, – говорилось в инструкции, – строго обязан:

– бдительно охранять и не оставлять вверенный ему объект, хотя бы жизни его угрожала опасность;

– тушить пожар имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, вода), при этом не ослаблять наблюдения за постом.

Запрещается заходить в караульное помещение, кроме случаев: а) звонить по телефону вышестоящему начальству; б) для приёма пищи в установленное время...»

Черенков улыбнулся простоте указаний. Разница между долженствующим и существующим положением дел показала ему курьёзной. Документ составлен был не по-научному, основные принципы инструктологии попросту игнорировались. «Вот тебе и культура», – подумал Дмитрий Константинович.

«Правила применения оружия». Улыбка сошла с лица Черенкова. В случае вооружённого нападения на объект или караульное помещение в условиях невозможности предупредить акт нападения и задержать преступника Дмитрий Константинович должен был применить оружие. Способ

применения оружия – путём выстрела, штыком или прикладом – в каждом отдельном случае следовало выбирать самостоятельно; при этом категорически запрещалось применять оружие в отношении детей, подростков, каких бы то ни было лиц, имеющих при себе детей, а также против беременных женщин, участвующих в нападении.

Черенков отложил инструкцию. Что за морок?

Каких женщин? Какое оружие?

Кто-то вздохнул снаружи – тяжело, громко, отчётливо.

## 10

Лучший способ побороть страх – убедиться в нелепости его причины.

К чести Дмитрия Константиновича он снова обнаружил в себе силы выйти вон из убежища.

Вопреки ожиданию сделалось ещё страшнее. Прежде всего Дмитрий Константинович рассмотрел на лице безрукой обладательницы весла отвратительнейшую гримасу (давеча он не заметил такую): женщина как будто силилась улыбнуться, но не умела этого сделать. Карликовый стрелок, казалось ему, повернулся чуть влево, а широкоплечий пионер – вправо. Бюсты в лопухах тоже смотрелись как-то иначе, и все они, бюсты, глядели на Черенкова. От того, что светильники покачивались из стороны в сторону, на лицах гипсовых фигур происходила игра светотени, – казалось, они ожива-

ют. И тут, к своему великому ужасу, Дмитрий Константинович понял вдруг, что никакие доводы рассудка не убедят его в том, что статуи не шевелятся, что никто не стоит сейчас в темноте за спиной и не переминается с ноги на ногу, – он явственно слышал, как скрипит галька...

И снова очутился в сторожке. Сомнений быть не могло: шаги приближались. Кто-то стоял на крыльце, кто-то дёргал за ручку двери.

– Кто здесь? Кто?

– Это я, проверяющий.

## 11

Входящий в комнату был сама суровость... «Боже», – онемел Дмитрий Константинович. А тот ему грозно:

– Ага.

У Дмитрия Константиновича перехватило дыхание.

– Ну ладно, ладно, – сказал проверяющий, отстраняя Черенкова от двери. – Ты это брось, не дури. Ты никак меня испугался? Брось, брось, я не лютый зверь, знать, не кусаюсь. – Он сел на диван. – Ы-ых! Меня все боятся, как дети малые, ей-богу! А чего боятся, сами не знают. Дураки. Верно я говорю?

Черенков не знал, что ответить.

– Кто живёт правильно, – сказал проверяющий, – тому никакой проверяющий не страшен. Ты кто? Фролов?

– Фролов, – соврал Черенков, как учили.

– Ты сядь, Фролов, сядь, – разрешил проверяющий и, буд-то вспомнив о чём-то, глубоко вздохнул, как вздыхают ино-гда перед началом трудного разговора.

Был проверяющий высок, сутул, густобров, сед, был в штанах на манер галифе, сапогах и ватнике. Вздыхал хрипло.

– Не стой, не стой. Не люблю этого. – Проверяющий похлопал себя по колену. – В ногах правды нет. Нет, понимаешь ли, правды. А? (Черенков опустил на стул.) Я тебе что говорю? Бывало, прошагаешь всю смену – и ничего, к утру свеж как огурчик, хоть вприсядку пляши, хоть козлом прыгай... А теперь, брат, я стар стал, устаю от ходьбы, вон ведь как притомился. Тебя, говоришь, Фролов зовут?

– Да-да, Фролов.

– То-то и вижу, Фролов.

Проверяющий достал из кармана ватника записную книжку.

– Иногда завидую вам, сторожам. Спите себе на диванах, чем не работа? А я, представь, как медведь-шатун, как, знаешь, Топтыгин... Всю ночь на ногах, всю ночь на ногах... Пока вас проверишь, пока всех мазуриков обойдёшь, силы-то не те уже, присядешь, вот так, поневоле задумаешься... Как фамилия, не расслышал?

– Чья? – удивился Дмитрий Константинович.

– Твоя, не моя же.

– Фролов, – чётко произнёс Черенков, стараясь не рас-

слабляться.

– Ну-ну, Фролов.

## 12

– Ты вот что, Фролов, ты у меня, Фролов, последний остался. Я уже всех проверил. Теперь твоя очередь. Скажи-ка мне, Фролов, может, у тебя замечания есть, пожелания, предложения? Может, вопрос какой появился? Может, волнует что? Ты говори, Фролов, не стесняйся, ты спрашивай.

– Вопрос у меня один. – Дмитрий Константинович прислушался к своему голосу, чем-то странным показался ему этот голос: глухо он звучал, не по-родному, не по-черенковски. – Вопрос у меня один: что я делаю тут и ради какой надобности?

– Ну это ты не меня спрашивай. Этого я не знаю.

– Хорошо, – сказал Черенков. – Согласно инструкции мне полагается оружие...

– Ишь чего захотел!

– Согласно инструкции...

– Нет, брат, подожди... «согласно инструкции»! Мало ли что согласно инструкции? Да у меня, знаешь, какая инструкция?! Твоя инструкция перед моей инструкцией, сам понимаешь... а не инструкция! И потом в твоей инструкции... ты уж меня за нос не води с инструкциями!., что сказано? Ска-

зано, как пользоваться в твоей инструкции оружием... А что согласно инструкции тебе полагается оружие, этого в твоей инструкции нет. Согласно моей инструкции тебе ничего не полагается. Ничего, понял? Да ты, брат, философ, наверное?

– Почему философ?

– Потому что философ.

– Где же я философ?

– Отвечай: ты философ?

– Нет, не философ, – отвечал Дмитрий Константинович, ощущая лёгкое головокружение.

## 13

– То-то и вижу, что не философ, – успокоился проверяющий. – У меня тут каждый третий философ. Ох, трудно с философами. Я сам философ. Я смотрю на жизнь философически. Я всех насквозь вижу. Меня не обманешь. Зачем обманываете? Кого обмануть хотите? Быстрее себя обманете. Обманщики!

Дмитрий Константинович не стал перечить. Он ждал, что, наговорившись вдоволь, проверяющий встанет и уйдёт по делам неотложной службы. Но, судя по всему, идти проверяющему было некуда.

– Ты, смотрю, сочинение сочиняешь?

– Сочиняю.

– О чём сочинение?

– Одеде.

– Знаю, что о деле. Вы тут у меня все деловые. Читай.

– Это почему же я, интересно, читать должен? Это что ещё за новости?

– Такие новости, что я проверяющий.

И без того холодный взгляд его сделался совершенно ледяным, лютым, к возражениям нетерпимым: желваки заходили по скулам, брови грозно сошлись на переносице, кисти рук сами собой в кулаки сжались.

– Хорошо, – сдался Дмитрий Константинович. – Если так хочется, то пожалуйста... мне скрывать нечего... Я тут статью пишу... о культуре, кстати говоря, инструктирования. Я тут пишу, – он приготовился читать, – ну да, это про терминологию... «Следует различать, – пишу, – такие понятия, как “рекомендуемость” и “рекомендационность”. Как уже следует из грамматических значений этих понятий, рекомендуемость – есть способность предмета, явления или общественного мероприятия быть рекомендованным к чему-либо, тогда как рекомендационность – есть свойство предмета, явления или общественного мероприятия...»

– Достаточно, – сказал проверяющий, – я всё понял.

Проверяющий закрыл глаза. Он уронил голову на грудь, плечи его опустились. Выражение суровости на лице про-

веряющего сменилось безразличием, он спал, вероятно. Черенков сам не мог сказать о себе с уверенностью, спит он или не спит. «Сплю я или не сплю?» – спрашивал себя Дмитрий Константинович и не слышал ответа: мысли его, обнаружив медлительность, вяло прилеплялись к другим, ещё более неповоротливым и медлительным мыслям о немислимым пустяках – кружочках и квадратах, палочках и галочках, загогулинках и заковырочках, – он медленно переставал понимать свои медлительные мысли, переставал их слышать, он закрыл глаза и покачнулся на стуле. Как только он покачнулся, очнулся проверяющий.

– Ты куда, Фадеев?

– Я не Фадеев... Я... я Фролов!

– Врёшь, небось? Небось, не Фролов? Сознайся.

– Зачем же мне врать? – обиделся Черенков. – Я не вру.

Фролов я.

– То-то и вижу, Фролов. Ты на меня, Фролов, не сердись.

Работа. Мы с тобой умрём скоро.

– Как умрём? Отчего?

– От скуки.

– От муки?

– От скуки, говорю. Ты на часы посмотри. Сколько ещё до рассвета? Это ж с ума сойти!.. И заняться, главное, нечем.

Дмитрий Константинович мог возразить, ему было чем заняться, но возразить не успел, проверяющий сказал негромко:

– Ужас. Терпеть не могу безделья. Места себе не нахожу, просто беда какая-то... Хоть давай, что ли, в игру какую сыграем, всё дело. Ты какие игры знаешь? Я тебе слово загадаю, хочешь?

Он написал на полях черенковской статьи две буквы: «М» и «А», между ними поставил три чёрточки.

– Отгадывай.

Дмитрий Константинович вспомнил:

– У нас это «виселицей» называлось.

Он уже много лет не играл в «виселицу».

– И у нас называлось, – оживился проверяющий. – Должен тебе заметить, я проверил сегодня человек десять. Никто не сумел выкрутиться.

– Наверное, слово редкое.

– Обыкновенное слово. Говори букву.

– Ну, брат, у тебя просто мозги набекрень. Так не годится.

Ты проиграешь.

Черенков пожал плечами... Лопатки и плечи колола дранка, он лежал на крыше сарая, а свет на веранде уже погасили. «Дима, ты где?» Сквозь ветви рябины проступал Млечный Путь. Ветви шевелятся.

– Ты брось. Ты не спи. Так мы не договаривались. – Проверяющий ткнул в плечо кулаком. – Я задаю наводящий вопрос: кем ты хотел стать в детстве?

– Астрономом, – услышал Дмитрий Константинович. – В детстве я хотел стать астрономом. Все мечтали стать космонавтами, потому что запустили космонавта, один я – астрономом!..

Я был влюблён в звёздное небо, особенно в августе, особенно в конце лета, когда падают яблоки в саду, а мы избываем последние ночи дачного существования. Я путался в таблице умножения, но умел уже отличать Гончих Псов от Волос Вероники. Я находил едва заметный Алькор в созвездии Большой Медведицы. Я видел Персея, и спасённую им Андромеду, и гигантского Кита, плывущего вдоль кромки леса. Бабушка говорила: лик человека отражён на Луне, – Каин убил Авеля. В бинокль отца – полевой, двенадцатикратный – я рассматривал Озеро Снов, Океан Бурь и Залив Радуг. Позже с часами в руках я наблюдал покрытие звёзд лунным диском и ждал с замиранием сердца секунды, когда вспыхнет очередная звезда, отпускаемая на свободу. Я знал, что такое восторг. На восторге моём лежал отсвет отчаяния: я боялся. Я боялся думать о том, о чём лучше не думать, и я думал о звёздах. Яблоки бьются оземь. Ветер шумит листвой. Мы все превращаемся в излучение. Если средняя плотность вещества во Вселенной действительно меньше критической, мы все превратимся в излучение. Через сорок миллиардов лет

мы все будем ничто. Мы – это Земля, Солнце, звёзды, всё мироздание, включая атомы меня самого, так и не ставшего астрономом. Великая пустота! Один электрон на миллиарды кубических лет световых. Так жить нельзя. Надо что-то придумать. Кто я? Зачем? Во что я верю? За кого себя выдаю? Как я стал таким... я, я, который...

– Это романтизм, – пробормотал проверяющий. – Ты не можешь отгадать слово.

## 16

Телефонный звонок заставил очнуться.

– Здравствуй, Фролов, – сказала она.

– Здравствуйте, – сказал Черенков, возвращаясь на землю.

– Ты что, не один?

– Нет, почему же.

– Это ты или не ты?

– Кажется, я...

– У тебя изменился голос. Ты спишь?

– Кажется, нет. Я не знаю...

– Ты ничего не знаешь.

– Чего не знаю?

– Ты не знаешь, ты это или не ты, спишь ты или не спишь, любишь или не любишь...

– Кого не люблю?

– Никого ты не любишь. Ты меня не любишь. Ты меня бросил, ты...

– Я не я... Я, я...

– Ты, ты! Ты бросил меня, да?

– Нет... то есть да... То есть тут есть одно обстоятельство... – Он покосился на проверяющего: проверяющий укоризненно качал головой, ему не терпелось доиграть в «виселицу».

– Скажи: тебе плохо? Ты устал? Ты устал, да?

– Да, – сказал Черенков.

– Я приеду. Я возьму такси и приеду.

– Нет, нет, я не знаю... Ко мне нельзя.

– Так ты не один?

– У меня проверяющий.

Долгая, долгая пауза.

– Счастливо проверить. – Она повесила трубку.

## 17

– Извини, друг, но пора завязывать. Я сейчас нарисую верёвку.

– Не хочу, – сказал Черенков.

– Это нечестно, – сказал проверяющий, – называй букву.

– Твёрдый знак.

– Тупой! Тупой! – проверяющий застучал кулаком по столу. – Сколько можно подсказывать?! Ты туп! Ты темнота! Ты

не человек, а туловище! Твоё тело тождественно трафарету!  
Тоже тут... Ты тугодум, тук-тук, – он постучал себя по лбу.

Дмитрий Константинович внял подсказке.

– «Тэ»? – спросил он удивлённо.

– Слава богу, отгадал четвёртую. Не делай меня человекоубийцей. Чур, чур! Чхи, – чихнул проверяющий.

– Чую, чую! – закричал Черенков. – Буква «Че»!

– Чудесно!

Стук в дверь.

– Чудесно.

Чайник эмалированный, занавеска ситцевая, плитка нагревательная, аппарат телефонный, стол, стул, диван, тишина, сон, бессонница, пауза...

## 18

– Это она.

– Это они.

– Это она. Как глупо, боже... Как бестолково!

– Я тебе говорю, это они. Называй последнюю. Только прошу, помни про свою астрономию.

– Буква «А». Вы задумали слово «МАЧТА».

– Вот тебе «мачта». Ты проиграл. Я задумал другое.

На пороге стоял бородатый. В руке он держал верёвку.

## 19

- Идём.
- Куда?
- Открывать ворота.

## 20

– Извини, пожалуйста. У меня к тебе просьба. Ты бы не мог отрезать кролику волосатую ногу?

Это моя жена появилась из кухни. (Мы приобрели мясо кролика, у кролика контрольная нога, а у моей жены аллергия на шерсть.)

Я иду на кухню и выполняю всё, что она меня просит. Я взволнован.

– Ты редактируешь новый свод образцовых инструкций?

– Нет, я размышляю над судьбой одного человека.

– Звонил Фролов. Он спрашивает, куда ты пропал.

– Куда я пропал? Хорошо, спасибо.

Я возвращаюсь опять за машинку.

– Любимая моя! – пишу посвящение.

Любимая моя! Я посмотрел на небо и вспомнил те края, где я ни разу не был. Где я и быть не мог: там всякое такое

– Весы и Козерог и многое другое...

Ещё не заря, но предутренний сумрак. Фиолетовые разводы на востоке. Шествие облаков. Предрассветная дымка. Капли влаги на гипсовых лицах.

Чигирь-звезда горит над забором.

«Однако, полномочия, есть ли у меня полномочия?» – думал я, открывая ворота.

– Не спи, не спи, – торопил бородатый.

На территорию охраняемого объекта кузовом вперёд въехала грузовая машина. Из кабины выскочил бородач, абсолютная копия первого.

Я подумал: наверное, братья.

Братья опустили борт кузова. Гипсовый человек лежал на спине. Гипсовый человек смотрел на небо.

– Ну вот, привезли, – сказал первый (а может, второй), он обматывал верёвкой гипсовое туловище.

– Ребята, но почему ночью?

Братья многозначительно промолчали.

– Ребята, это кто-то выполняет план по выпуску валовой продукции?

– Послушай, – сказал второй (а может быть, первый), – не пытайся рассудком постичь то, что не поддаётся рационалистическому объяснению. Лично я давно не задаю вопросов.

– Но... но какова их природа?

Я услышал:

– Это мертворождённые. Их возникновение было ошибкой. Тяни.

Втроём потянули за конец верёвки.

Гипсовый человек сопротивлялся, – он не хотел покидать кузов, – он цеплялся ногой за скамейку, в запасное колесо упирался плечом, он опрокинул ведёрко, перевернулся на бок и, передвигаясь вперёд короткими рывками, вывалился из машины.

Я посмотрел на лицо вновь доставленного, оно показалось чрезвычайно знакомым.

## 22

Мотор уже был заведён, когда на крыльце появился проверяющий.

– Стой, стой! Где накладные?

Я отскочил в сторону, я спрятался за кабину. Выглядывая отсюда, я видел, как проверяющий проверяет. Он подносил к самому носу какие-то бумаги, – казалось, что нюхает. Он стоял под фонарём. Дул ветер.

Проверив, он сказал:

– Поезжайте.

Машина тронулась.

– Выходи, проигравший. Я тебя вижу! Пора!

– Прочь, прочь, прочь, – говорил я себе, на ходу залезая

в кузов.

Прежде чем лечь на место гипсового человека, я успел обернуться назад: проверяющий таял в тумане.

## 23

Что было дальше?

Ничего. С первыми лучами солнца на объект возвратился Фролов. Он был изумлён и испуган: неведомо кто в сапогах и штанах на манер галифе спал на диване.

Около крыльца Фролов обнаружил новую статую – с удивительно знакомым лицом.

*1983*

# Комиссарова ночь

Удивительно, даже в самые жаркие дни он не снимал стройотрядовку. Никто не видел его никогда загорающим. Правда, если загорать, то не сейчас, конечно, потому что сейчас не солнечный день, а вечер, притом прохладный, но всё равно, он даже рукава никогда не засучивал.

На рукавах были эмблемы. На одном – института, всякие «де игрек по де икс» внутри шестерни, на другом – «Буревестника». Так назывался отряд: «Буревестник-77». Юбилейный был год, если кто помнит. Год шестидесятилетия.

И ещё одна годовщина, но о ней мало кто знал (он знал, он-то обязан был знать, это его лично касалось) – 360 лет мирному договору между Россией и Швецией.

Дела давно минувших дней. С позиций времени видней.

... Они дошли до ручья. Завхоз Быков остановился.

– Половина пути, – сказал Быков.

И он тоже остановился. Он сказал:

– Обрато пойдём дорогой.

Присел на корточки. Завхоз Быков ждал, когда он поправит язычок на ботинке. Он поправлял. Про себя он думал, что плохо поступил, не надев кеды.

«Фыр, фыр», – пролетела над ними птица.

– Рябчик, – предположил Быков.

– И потом, я тебе вот что скажу, – продолжал завхоз, ко-

гда тронулись дальше. – Плюнь ты на своего Белкина-Стрелкина. Ничего он тебе не даст. Ну, поработаешь на Белкина, ну, посидишь с паяльником. Ерунда всё это. Без перспектив. Кто такой Белкин? Подумаешь, Белкин! Шишка на ровном месте. Иди к Бурлакову. Бурлаков – сила. Хочешь, я с ним поговорю? Я ему скажу. Сказать?

Микитин кивнул, что означало «сказать», – не очень-то, однако, задумываясь о Бурлакове. Его занимали другие проблемы. Собственно, две: одна – диалектика правды и правдоподобия, как она отразится в данном походе, другая – наступление ночи. Идти оставалось пять километров. Потом назад возвращаться. Быстро темнело.

А было завхозу лет где-то, наверное, тридцать. Он знал кратчайший путь до деревни. Он вёл комиссара.

Около тридцати было завхозу. В отряде его называли (за глаза, конечно) Колобком, потому что он был упитан, лицо у него было круглое. Он аспирантствовал на кафедре распределительных устройств и, говорят, считался хорошим специалистом. Он лучше – и это понятно, – чем кто другой, мог рассказать комиссару Микитину, как зацепиться, чтобы остаться на кафедре. Он обладал опытом. Сейчас, когда шли они через лес, и ночь когда была близко, и кусты, и деревья, и всё что угодно – и призрачным, и недостоверным в сумерках становилось, и петляла когда тропинка туда-сюда, а прямой быть не хотела (вот вам путь до деревни кратчайший!), – очень, очень желал в этот час Быков-завхоз казаться Мики-

тину уверенным в себе человеком. Он намекал на влияние. Он был готов оказать протекцию. Он знал, что и куда.

Микитин слушал завхоза вполуха. Он больше прислушивался к шуму леса. А лес шумел. И тем удивителен леса был шум, что было безветрие.

Трудный будет у Микитина день завтра. Надлежит ему ехать после обеда в районный штаб ССО<sup>1</sup>. Уйму справок взять и отчётов. Быть распекаю.

Вот и лето прошло...

– Уходи, уходи от Белкина. Иди к Бурлакову. Бурлаков команду будет сколачивать. Иди.

А в деревню шли они вот зачем. Завхоз шёл по завхозным делам, бабки подбивать под конец сезона (что-то срочное-срочное... чек товарный?). Микитин шёл, комиссар, лично за справками. Справок ему катастрофически не хватало, особенно с круглой печатью.

А жил в той деревне директор школы. Ещё в июле обновил комиссар Микитин директору школы незамысловатый стенд с портретами членов Политбюро, – Илья Фомич, доброй души человек, обещал поставить печать, куда комиссар попросит. Летом её забирал домой – круглую! – не доверял школьному сейфу.

Куда было проще с руководством совхоза, оно ведь под боком. До вчерашнего дня с рук всё сходило. Каждый день (до вчерашнего дня) комиссар появлялся в дирекции. Без

---

<sup>1</sup> Студенческий строительный отряд.

лишней мороки девушка Надя (нежно он там обвораживал Надю) ставила печать на любую бумажку. Провели субботник – приписали пять, получилось шесть. Помогли старушке – семерых приписали, получилось восемь старушек. Выступлений агитбригады – двадцать четыре! Тысяча пятьсот сорок восемь человеко-часов на сельхозработах! Тридцать тонн витаминной муки! А сколько лекций прочитано! Когда б в самом деле читали (и слушали), некогда было б работать. И некому. Бедный Микитин устал придумывать темы.

Несколько бланков – хороших, официальных, с шапкой правления совхоза – те, что плохо лежали, – он попросту слямзил. Печать на них не нужна. Но все уж давно разошлись.

Жаль. Вчера ему отказали с печатью. И вот результат: не хватило.

Что же начальство? Районный штаб ССО потерял чувство меры, требовал справки: ещё подавайте, ещё! Рапортовали наверх, те, разумеется, выше. Самый большой комсомолец с высокой трибуны столь назовёт небывалые цифры, что все – все, кто умеет считать, в ужасе вздрогнут.

Нет у нас дураков.

Дураков у нас, кажется, нет.

Нет дураков.

– ...Бурлаков... Бурлаков...

– Ну что ты пристал со своим Бурлаковым! Что ты пристаёшь ко мне с Бурлаковым! – Он даже думать начинал стиха-

ми, комиссар Микитин, так достало его комиссарство (впрочем, давно замечено: когда идёшь быстрым шагом и достаточно долго, ритм неизбежно влияет на мысль). – «Бурлаков, Бурлаков!..» Мне завтра пистон будут вставлять, а ты: «Бурлаков, Бурлаков...» Попрут за несоответствие...

Быков-завхоз обиделся.

– Я тебе помочь хотел, а ты как не знаю кто. Кому ты нужен, «попрут»?

– Ну так выговор влепят.

– Подумаешь, выговор. За что?

«Подумаешь, подумаешь», – подумал Микитин.

– Опаскудело.

– Сам виноват. Но лучше без выговора, ты прав. Тебя могут в партию не принять.

– Я и не рвусь.

– Дурак. Потом не вступишь.

При этих словах расступились деревья.

Деревья расступились перед Быковым и Микитиным, и пространство, именуемое совхозным полем, доселе скрытое от органов их чувств, обрело и видимость, и прохладу. В низине лежал туман. Они спускались в низину. Шум леса, по мере удаления от лесного массива, затухал постепенно, и по доносящемуся до них звуку иной природы Микитин и Быков могли узнать, что деревня не так далеко, чтобы слишком тревожиться. Микитин и Быков не знали, однако, кто там стучит столь неистово, почему, по чему. А это подвыпивший

почтальон, отгоняя невидимых кабанов от картофеля, грохотал, как обычно в минуты тоски, кочергой по металлической бочке. Микитин глядел и видел лишь то, что мог увидеть глазами. Луну и туман. Он видел, как Быков, медленно погружаясь в туман, поднимает руки зачем-то, словно входит в холодную воду. Левый бок у луны был немного приплюснут, и, когда прекратился неистовый стук, так сделалось тихо, что время, казалось, лишённое ритма и счёта, захлебнулось и выдохлось. Микитин подумал, что случилась беда – перевернулся «КамАЗ» где-нибудь на сто пятьдесят седьмом километре. Но случилось другое: ничего не случилось. Два браконьера на реке Сясь потушили карбидный фонарь. Ангелина смывала косметику, она не ждала гостей. Почтальон с кочергой брёл по направлению к дому. Время отнюдь не стояло на месте. Отнюдь не стояло. Старший научный сотрудник Белкин, слушая сводку погоды, даже воскликнул: «Куплю сапоги!» – приказом ректора института ехать ему послезавтра к студентам и быть на отвальной, дабы никто не напился. Бурлакову икнулось (много о нём вспоминали). Все пребывали в лёгкой печали, потому что луна, как не раз отмечали, видна она или нет, всегда располагает к задумчивости, – и лишь один учитель истории Илья Фомич, он же директор школы, сидя у изголовья больной жены, говорил о всём – он сочинял историю своей непонятно какой жизни.

«Плохо дело, хоть брось, – думал Микитин, окружённый туманом, – ведь не поставит печать...»

«А ты бы пузырёк поставил, он бы тебе и поставил», – подумал завхоз.

«Какой пузырёк! Обратно пойдём дорогой».

Наконец на дорогу вышли, это означало пути конец.

Дорога повернула направо, и, окружаемые огоньками светящихся окон, выступающих из-за придорожных кустов, Быков и Микитин очутились в деревне.

Дом Ильи Фомича оказался первым. Завхоз дальше отправился, в другой дом – за витаминную мельницу, а Микитин поспешил осчастливить директора школы.

– Здравствуйте, Илья Фомич, это я, – сказал комиссар, когда из-за двери послышалось «кто там?».

– Кто? Кто?

– Микитин, комиссар, не помните?

– Кто? Кто?

Да что же такое, глухой он, что ли?

– Микитин я, комиссар стройотряда...

– Фу ты кто... комиссар Микитин...

Дверь отворилась, появился директор – невысокий, сутулый, в белой рубашке, – Микитин ему ладонь протянул, надеясь на рукопожатие, но не рассчитал в темноте и ткнул директора в живот.

– Гы! – тыкнул директор. – Чего?

– Я вам стенд оформлял. Помните?

– Какой стенд?

– Стенд в школе. С членами Политбюро.

– Помню, помню.

– Вы печать обещали.

– Какую печать?

– Круглую. Я отчёты завтра везу, справки... шефская, там, работа, я рассказывал... Мне печать надо.

– А... печать. Фу ты что... – рукопожатие состоялось. – Печать, значит...

И уже в комнате:

– Маша, где очки? Тут студент пришёл, печать просит.

Жена Ильи Фомича негромко отвечала из другой комнаты, что «очки, как всегда, на комодe». Голос у неё был расслабленный, тусклый. Илья Фомич зашёл к ней и тотчас возвратился, уже с очками на кончике носа. В руке он держал коробочку.

– Печать храню.

Пахло лекарством.

Микитин расстегнул портфель. Он доставал бумажки.

– Тут всякие, Илья Фомич. Я их на машинке, для солидности.

– Вижу, вижу, – директор взял в руки первую. – «Дана строительному отряду “Буревестник” в том, что бойцы отряда в порядке шефской помощи отремонтировали 48 парт (ого!), 17 шкафов, 14 школьных...» Не стыдно? – строго спросил директор.

– Стыдно, – соврал Микитин. – А что делать?

Покачав головой, Илья Фомич удостоверил справку печат-

тью.

Он взял другую. В ней утверждалось, что бойцы стройотряда в свободное от основной работы время произвели косметический ремонт кабинета истории.

– А почему не географии?

– Можно и географии.

– Драть вас некому, – сказал Илья Фомич и, поставив печать на справку, прибавил: – Моя б воля, я...

– Да ну, – отмахнулся Микитин.

Откуда ни возьмись, появилась кошка. Кошка подкралась к Микитину и стала ласкаться к его ноге. Микитин хотел сказать кошке: «Киса», но, посмотрев ей в глаза, одумался. Кошка удалилась.

– Да, – сказал Микитин.

Споткнулись на третьей. Третья Илье Фомичу не понравилась.

– У нас нет стадиона.

– Как же так, Илья Фомич? Как нет стадиона? А за школой разве не стадион?

– За школой стадион? – задумчиво переспросил директор.

Он поглядел в окно недоверчиво, будто в самом деле хотел увидеть стадион в темноте или хотя бы школу (была школа в десяти километрах отсюда, за шоссеиной дорогой), но, не углядев ничего такого, кроме отражённого в стекле абажура, уверенно заключил:

– Волейбольная площадка за школой, а не стадион. Пло-

щадка!

– Для кого площадка, а для кого стадион.

– Только для тебя стадион, а для остальных площадка.

– Какая разница, – не унимался Микитин, – стадион или площадка? Назовите стадион площадкой, площадку стадионом – какая разница?

– Хорошо говорит, площадка ему без разницы или стадион...

– Естественно, стадион. Летний стадион.

– А почему «восстановили стадион»? Из руин восстановили? Нет? Или что... землетрясение?

– А вы хотели, чтобы я написал: «Построили стадион»?

– Пиши как знаешь. Только меня не вмешивай. Стадион! С ума посходили – стадион! Это ж такое придумать ещё надо, чтобы стадион восстановили... А как приедет комиссия на стадион смотреть, я ей два столба покажу, – вот, скажу, стадион восстановленный...

Микитин сделал вид, что смеётся.

– Интересно, откуда вы комиссию ждёте?

– Почём я знаю, откуда? Оттуда и комиссия, куда это пойдёт. Тебе виднее.

– Там, куда это пойдёт, Илья Фомич, на ваш стадион, вы меня извините, конечно, прибор клали, есть он или нет, лишь бы печать была. Можно подумать, вы отчёты никогда не писали.

– Я отчёты писал и буду писать. Но я сам справляюсь. Ни-

кого в это дело не впутываю.

– Стенд сами оформили.

– Ну, знаешь, стенд... знай, что говоришь, стенд оформили... Так любой оформит, что хочешь. Наклеил фотографии, вот и оформил. Хорош оформитель.

– Но вы обещали.

– Ничего не обещал.

– Как не обещали?

– Так не обещал.

– Обещали, я помню.

– Ничего не обещал.

– Как же не обещал, когда обещал?

– Ну когда, когда обещал?

– Тогда обещал!

– Ильюшенька, миленький, – донеслось из другой комнаты, – да поставь ты ему, не упрямясь, зачем ругаетесь...

Как ни странно, слова эти возымели действие. Илья Фомич вздрогнул, сник, вобрал голову в плечи и, немного подумав, действительно поставил печать на справку, чем даже несколько удивил Микитина.

– Спасибо, весьма признателен.

И он подсунул ещё одну, самую сомнительную. Ту, с которой вчера получился прокол. Подвела, подвела Наденька...

– Я объясню, в чём дело.

Следовало бы поспешить с объяснениями: выражение негодования стремительно возвращалось лицу директора.

– Памятник?

– Дело вот в чём...

– Какой памятник?

– Тут всё сказано. Вот... «в ознаменование 360-летия заключения мирного договора между Россией и Швецией...»

– Ильюша, милый, гость ужинать хочет.

– Иду, иду, подожди секунду.

– Объясняю. Дело вот в чём. Дело в том, что места, в которых вам посчастливилось жить, Илья Фомич, давно уже вошли в историю. Вы, должно быть, и сами знаете: когда-то здесь шла война между русскими и шведами. Суровая, кровопролитная. В шестьсот семнадцатом году был заключён мирный договор. Так называемый Столбовский мир, согласно этому договору...

– Молодой человек! – Илья Фомич внезапно вспыхнул, он даже ногой под столом топнул. – Молодой человек! Я хоть в деревне живу, но сам учитель. Учитель! Прошу это учесть. Я сам просвещаю. Сам просвещённый. Я, не думайте, я вам и про шведов могу не хуже вашего, и про немцев, и про кого угодно столько рассказать, что и не снилось... И что в семнадцатом году было...

– В шестьсот семнадцатом...

– И в сорок втором... Волховский фронт... понимаешь ли... что и не снилось!..

– Ну так вот, – продолжал Микитин, – мы посетили историческое место близ деревни Столбово и решили увековечить

читать событие небольшим памятником.

– Не верю!

– А зря. Точнее сказать, обелиском.

– Не верю, не верю! Обман!

– Это как вам угодно. Высота обелиска два с половиной метра.

– Врёте! Где он стоит?

– Обелиск? А где Сясь поворачивает, в лесу.

– Врёшь, врёшь, ты всё врёшь! Ты... не верю! Ты врёшь!

Ты врун беспринципный!

– Илья! Немедленно иди ко мне!

– Он врёт, Маша...

– Илья!

– Вы меня, Илья Фомич, оскорбили, очень серьёзно оскорбили, очень...

И он действительно оскорбился. Что за чушь такая? Почему беспринципный? Почему ему, собственно, не должны верить? С какой стати?.. Разумеется, никакого обелиска нет. Кто ж спорит об этом? Речь о другом. Не в обелиске дело, дело в принципе. В принципе он мог вполне быть, обелиск. Они бы могли в принципе установить что-нибудь такое, воздвигнуть бетонный какой-нибудь, например, столб, не так и сложно воздвигнуть, но всё равно бы тогда – вот что оскорбительно – этот Илья Фомич точно так же кричал бы: «Врёшь, врёшь, ты врун беспринципный!..» Да почему же? Что, разве Микитин врал, когда речь шла о партах и шка-

фах, разве он отрицал, что они липовые? Почему же, когда он утверждает то, чего хоть и нет, но в принципе как бы есть, то есть могло бы в принципе быть, – почему же тогда ему не просто даже не верят, а верить в принципе не хотят? Что за дела такие? Этот Илья Фомич, любитель старины, – так уж он и любитель? – шёл бы тогда, раз любитель, в своё Столбово с пионерами, давно бы воздвиг что-нибудь, – нет же, табличку приколотить не пошевелются.

И за державу и за себя тоже обидно. Тут чисто по-человечески Микитин понимания достоин. А то получается, он с жиру бесится. Получается, обелиск этот он сам придумал. Ничего подобного. За него давно всё решили. Ещё в подготовительный период поручили им всем, комиссарам линейных отрядов, составить списки достопримечательностей тех мест, куда они направляются. Он составил, сообщил, получил свой плюсики за оперативность – ни о каком Столбове никто до того и слыхом не слыхивал, – а когда приехал с отрядом на место, тут и задание пришло: посетить, предоставить отчёт, увековечить. Замечательный был документ. «ПОСЕТИТЬ» – подчёркнуто, а дальше вписано от руки (остальное всё на машинке, бланк был стандартный): «...деревню Столбово в шести километрах от места дислокации отряда». «ПРЕДОСТАВИТЬ ОТЧЁТ» – подчёркнуто, а дальше по пунктам:

«полное наименование объекта и подробное его описание; место расположения объекта, точный почтовый адрес и

план;

фотографии объекта (не менее 2–3 с разных сторон);  
впечатления о посещении объекта».

«УВЕКОВЕЧИТЬ» – подчёркнуто, а дальше в скобках:

«(установить памятник, обелиск, мемориальную доску)», – надо полагать, на выбор. Велено – установим. Те, кто подписал бумагу, не о монументах думали – о правилах игры, – с этим понятно, дураков у нас нет. А как же иначе? Вот и директор школы Илья Фомич со своими шкафами и партами оказался втянут в игру, принял он правила? Принял – зачем же теперь принципиальным прикидываться? Ведь это нечестно. Не по-мужски.

Илья Фомич, тем временем в другую комнату женой призванный, туда и пошёл, негодуяюще возбуждённый. Жена ему стала выговаривать, но негромко (слышно было плохо), а он оправдывался. Сначала он раздражённо отвечал, потом – соглашаясь вроде бы, и наконец просто ласково и смирившись. По-видимому, разговаривая с женой, Илья Фомич прониклся идеей гостеприимства и как следует вразумлялся.

Печать между тем преспокойненько лежала на столе. Комиссар Микитин не стал суетиться. Он просто-напросто преспокойненько взял её со стола, преспокойненько дыхнул на печать, как делают это, когда заботятся о качестве отпечатка, и опустил преспокойненько на справку о монументе.

Получилось весьма эстетично.

А закорючку можно поставить любую.

Он положил на место печать, преспокойненько убрал справки в портфель, не забыв помахать последней справкой по воздуху и тем ускорить сушку чернил, застегнул портфель преспокойненько на обе застёжки и отошёл в сторону, чтобы, как только появится Илья Фомич, тут же раскланяться и уйти. Впрочем, уйти можно было и по-английски.

Илья Фомич появился достаточно скоро. Уже вразумлённый. Был он, по всему видно, отходчив, долго зла не держал.

Увидев, что Микитин стоит возле двери, Илья Фомич забеспокоился.

– Подожди... Ты куда?.. Ладно, чего?

– Ничего. Прощайте.

– Чего – «ничего»? Ужинать будем...

– Благодарю. Не надо.

– Постой... Да ты что... Ночь на улице.

– Не трогайте. Ухожу.

– Ночь на улице, говорю. Остайся.

– Не трогайте меня. Меня ждут.

– Ну, ты это... Ты чего, обиделся? Я печать поставлю.

– Обойдусь.

– Я поставлю, давай, где справка?

– Сказал же, обойдусь.

– Да ты что, в самом деле... Ты не думай, я верю... Я так...

Микитин был уже в сенях.

– Да я тебе верю, ты что?..

Открыл дверь наружу. Поставил ногу за порог, но вторую

ещё медлил занести – задумался.

– Подожди ты, постой, куда?.. Ну, я, сам какой, видишь, дёрганый... жена слегла, позвоночник, нельзя так... Я тоже...

А ночь была царственная.

– Знаете, Илья Фомич, – обернулся Микитин, – мне как-то безразлично, верите вы мне или не верите. Мне небезразлично мнение тех людей, которым я сам доверяю. А они мне и без ваших справок поверят. Без вашей дурацкой печати.

– Так... тык... нук... чёрт! – Уже на крыльце чертыхнулся директор.

Микитин ушёл. Он ещё остановился, как только за калитку вышел. Остановился и сказал:

– Вот вы... – И замолчал, будто что-то крайне важное сказать хотел. – Вот вы в школе работаете... – Не стал договаривать, махнул рукой и пошёл вдоль забора.

А ночь царственная была, одно слово, августовская ночь, – звёзды, да что звёзды, тех немного, а луна! А луна уже высоко вошла. Круглая, как печать. Только с левой стороны небольшая приплюснутость. Если бы не приплюснутость – полнолуние было бы.

Деревенские спать ложились. Они свои телевизоры повключали, и редко где свет горел. Побреживали собаки, стрекотали всякие, кто в траве прячется. Прямокрылые, там, кузнечики. Почтальонова бочка, особыми качествами не выделяясь, лежала себе за канавой и потихоньку ржавела. Лу-

ной освещённая АВМ, походя на реликтовое страшилище, возвышалась довольно зловеще над невысоким кустарником; любой бы студент из их института расшифровал бы так АВМ: аналоговая вычислительная машина, а то была автоматизированная витаминная мельница. Микитин проходил мимо, он ступал на вдавленные в землю доски, брошенные сюда против слякоти. Шаги комиссара, ночной покой нарушая на мельнице, глухо отзывались в её металлическом нутре (днём же АВМ безбожно грохотала, и те, кто работал с мешками – в основном бабы, – задыхались от пыли, когда витаминная мука сыпалась из воронки, – они избегали трудиться на этом объекте ввиду несомненной вредности такого труда для здоровья и звали приехать бойцов. Бойцов стройотряда).

Микитин подошёл к дому, которым интересовался завхоз. Отпугивая дурашливых мотыльков, слетевшихся на свет, постучал в окно. Отдёрнулась занавеска, и он увидел лицо женщины, но не успел рассмотреть, занавеска опять задёрнулась. Что-то задвигалось внутри дома, запередвигалось. Отворилась входная дверь, вышел завхоз Быков, позёвывая на луну.

– Ты здесь? – удивился позёвывающий Быков. – Я думал, ушёл.

– Здравсьте, ушёл! Я за тобой.

– Нет, старик, извини, я останусь.

Комиссар Микитин присвистнул: дошло наконец.

– Очень славно.

– А что? Ты думал, наверно, я за этим... за товарным чеком, да?., попёрся? – От Быкова уже водчонкой попахивало. – Хорошего ты мнения обо мне... Нет, старик, я не такой. Старик, ты это...

– Короче, – сказал Микитин, – мне одному или как?

– Да никак. Я ж сказал, как...

– Ну тогда счастливо.

– Нет, конечно... как... если ты хочешь, то почему же... я ей сказать могу, а то, как... что здесь... ты это, на сеновале, да? Она тебя помнит, Ангелина, ты знаешь её, ты у неё покупал это... хлеб... Хочешь, скажу. Сказать?

– А пошёл ты, Быков. – И, развернувшись, он сам пошёл – в обратную сторону.

И все пошли. А пошли вы все – все! – со своими печатями, бабами и луной! Он зашагал быстро-быстро. Птык, птык, птык, – заотзывалось на мельнице.

Витаминная и автоматизированная, мельница эта уже за спиной оставалась, когда он увидел впереди себя будто бы человека. То Илья Фомич до сих пор ещё не убрался. Он стоял на тропинке – возле всё той же калитки, какой-то неуместный такой, необязательный, не от мира, буквально, сего, как обман зрения.

– Ты меня прости, постой. Так нельзя. Я дурак старый. Погорячился. Постой. Я верю. Я...

Микитин прошёл, не задерживаясь. Он выходил на доро-

гу. Путь предстоял далёкий.

*1985*

## День любви

Последний день сентября, обещали синоптики, будет хмурым. Фронт атмосферного давления, объясняли синоптики, переместится в западную половину европейской части. В южных областях Белоруссии, на Украине, западе Центрального и Центрально-Чернозёмного районов ожидаются дожди, температура воздуха шесть-девять градусов, ветер пять-восемь метров в секунду. В восточной половине Центрального, Центральнoчернозёмного районов, в северном Поволжье и Волго-Вятском рай...

Он дотянулся ногой до выключателя, – свет зажётся. «Вот», – сказал Евдокимов. И на подоконнике, и на столе валялись окурки. Немытые тарелки лежали в аквариуме. Этот тридцатилитровый аквариум (огромный, тридцатилитровый! – тридцать литров на тридцать лет) подарили вчера сослуживцы. «И правильно, – сказал Евдокимов, – будем разводить рыбок». Он искал тапки, чертыхаясь, – нашёл, достал из-под дивана, надел, вышел в коридор, шаркая. Соседка проявилась между двумя вешалками.

– Уф, – испугался Евдокимов.

– Ты чего? – спросила соседка. – Ты ничего. Это я, Софья Антоновна.

Софья Антоновна застёгивала плащ на последнюю пуговицу – торопилась на службу. Она работала в поликлинике

– отключала сигнализацию рано утром и открывала входные двери.

– Кстати, – сказала Софья Антоновна, – сегодня Вера, Надежда, Любовь...

«И София», – добавил про себя Евдокимов. Он мрачно поздравил:

– Поздравляю... – И отправился дальше.

Снова лежал на диване. Смотрел на потолок и видел на потолке трещину. Русло пересохшей реки в соляной пустыне. С каждым годом трещина удлинялась на несколько сантиметров. Вот и сегодня она стала длинней, чем вчера; Евдокимов, конечно, не мог различить столь малого приращения, и всё же он знал, что длиннее... «Это моя жизнь, – угрюмо думал Евдокимов, – спроецирована на потолок». Трещина была не очень прямой, но без особых изгибов.

За окном тем временем дождь моросил. Последний день сентября, обещали синоптики, будет хмурым. Евдокимов лежал на диване и вершил над собой суровый суд, спать не хотелось.

Для подводящего итоги ход мысли вполне традиционный. Плохо. Так жить нельзя. Тридцать лет – как корова языком. Половина жизни.

«В моей жизни много случайного, необязательного, непонятно какого. Жизнь могла бы сложиться иначе, будь я собранным и целеустремлённым, но я никогда не был собранным и целеустремлённым, я был другим, хотя и стремился к

чему-то, непонятно к чему, а потому жизнь моя сложилась именно так, а не иначе, то есть никак не сложилась». Евдокимов жил-был.

Жил-был Евдокимов. В детстве он мечтал стать клоуном. В юности слыл неплохим рисовальщиком. Выпускал стенгазету в стройбате. Работал электриком в Русском музее. Ездил с геодезистами. Годы не первой молодости Евдокимов отдал Институту культуры. То, чему учили Евдокимова, называлось Культурно-Просветительская Работа. Он был самым старшим в группе. «Да, да, – сказал Евдокимов, – такая история».

«Осенняя скука» имела успех. Он поставил её за полтора месяца. Он сам сыграл роль помещика; на сцене ДК железнодорожников Евдокимов появлялся в широкополом халате, шлёпанцах на босу ногу и атласном ночном колпаке, сшитом для спектакля Максимовой Любой. Он получил «отлично». Председатель экзаменационной комиссии отметил музыкально-шумовое оформление спектакля и точность построения мизансцен. Евдокимова поздравили, Евдокимову пожали руку и в конечном итоге распределили Евдокимова методистом в управление кинофикации, – теперь он может доставать билеты на фестивальные фильмы.

Хорошо бы отправить ей телеграмму:

«ДОРОГАЯ ЛЮБА ПОЗДРАВЛЯЮ ДНЁМ АНГЕЛА ЕВДОКИМОВ».

С некоторых пор он сделался сентиментальным – признак

возраста.

Будучи сентиментальным, он, однако, не был влюбчивым человеком. То есть случалось в жизни Евдокимова всякое (мало ли что было в жизни Евдокимова!), но то, что было, не было любовью в самом высоком значении слова, это было другое, совсем другое, потому как любовь, сказал Гегель, то-то и то-то, а что именно, лень вспоминать, но он всё равно читал серьёзные книги.

Он не был принципиальным холостяком – отнюдь! Он никогда не кичился своей независимостью. Напротив: он тосковал по сильному чувству, а ещё более – по обыкновенной привязанности. С высоты прожитых лет было хорошо видно: Евдокимов совершал в жизни ошибки, но *ошибка жизни* Евдокимова (подумалось вдруг) – не женился на Любе.

Подумав так, Евдокимов поднялся с дивана и заходил по комнате. Удивительная мысль пришла ему в голову; и верно: пришла – будто со стороны, будто кто-то сказал, а не он подумал. Евдокимов, сказали ему, теперь ты видишь, – и он изумился, прозрев. Люба, Любушка. Любовь. Любаша.

Голубые глаза, тонкая шея, улыбка. Улыбка всегда печальная. (Господи, какой ты осёл, Евдокимов!..) В отличие от большинства подруг (его подруг) она была как бы тихоней. Она всегда находилась в тени своих блистательных однокурсниц. И он был с ними, а не с ней, потому что он, Евдокимов, ценил в женщинах артистичность. Он ценил в женщине артистичность и эксцентричность, ироничность и эсте-

тичность, энергичность, динамичность, реалистичность, фотогеничность, в то время как главное в женщине – женственность.

Евдокимов оделся и вышел на улицу. Моросил дождь, тот самый гадкий дождь, когда трудно сказать, дождь это или не дождь. Евдокимов раскрыл зонтик, но, пройдя несколько шагов, снова закрыл; под ногами чавкали тополиные листья.

Около почты стояла бочка с квасом, а на дверях почты висела табличка: «Санитарный день». Евдокимов цокнул языком с досады: мало что слякотный, так ещё санитарный.

– Что, браток, пива хочешь? – спросил продавец.

У него была интеллигентская бородка. Он был один-одинёшенек.

– Так ведь это же квас, а не пиво, – неуверенно произнёс Евдокимов.

– Квас, – подтвердил продавец и налил Евдокимову полную кружку.

С другой стороны, в тихом омуте черти водятся.

Вспоминалось новоселье у старосты группы – дым, чад, как обычно, музыка; она распускает волосы, – такой резкий взмах рукой (её длинные волосы...), мы все танцуем и есть время заметить то, чего раньше не замечал, и удивиться своему замечанию. Она умеет быть разной, как странно! Странно не то, что она умеет, а то, что он в тот вечер не зацепился взглядом достаточно крепко, не положил глаз в известном смысле. В известном смысле у него были другие заботы.

В общем, дружили. Если можно назвать дружбой готовность написать конспект под копирку или сшить ночной колпак для помещика. «Оставь, Люб, всё хорошо». – «Нет, подожди, я пришью кисточку». Невинность их отношений была безотчётна, как страсть, – ни тебе лукавых помыслов, ни двусмысленных фраз, ни сомнений. Он не искал в ней того, что мог найти в других, а может, это судьба берегла их обоих, чтобы большое (вдруг!) увиделось на расстоянии.

Куда бы теперь ни шёл Евдокимов, напившийся квасу, сколько бы ни вчитывался в позавчерашний «Советский спорт», наклеенный на доску «Союзпечати», как бы ни ублажал свой голодный желудок в пельменной, всё думал о Любе. И правда думал – серьёзно, без дураков. Люба стала сегодня идефикс Евдокимова. Ему было хорошо думать о Любе, и осознавать, что думать о Любе ему хорошо, и радоваться этому осознанию, – *ибо тому он угадывал имя...* Он думал о Любе и о себе. Что не вдохновляло, так это тарелки. Дома ждал тридцатилитровый аквариум, осквернённый тарелками. От одной только мысли о грязной посуде становилось тоскливо. Вдвойне тоскливо и втройне одиноко! И он думал о Любе.

На автовокзале, вопреки ожиданию, народ не толпился. Автобус отходил в час десять. Евдокимов посмотрел на часы: три минуты второго. Он сунулся в кассу:

- Есть билеты? – Был уверен, что нет.
- Есть, есть. Сколько угодно.

Когда Евдокимов опустился в мягкое кресло возле самой кабины водителя, он почувствовал невероятное облегчение, – камень упал с души, автобус тронулся. Рядом сидела женщина, очень грузная пассажирка, она держала на коленях арбуз и медленно поглаживала этот арбуз на коленях, словно домашнюю кошку, которая боится дороги.

– Фрукт или овощ? – спросила женщина.

– Ягода, – ответил Евдокимов не моргнув глазом.

– Правильно, – сказала женщина. – У меня четыре племянника. Первый – Ильюша, значит, он старший, второй, очень хороший мальчик, – Володя, третий (загибала пальцы) – Степан...

Она рассказывала про четырёх племянников: про то, какие они славные, как любят арбузы, как ждут не дождутся тётю... Евдокимов не слушал. Уехали уже далеко: череда картофельных полей тянулась за окном, мелькали деревья. Кто-то что-то вытаскивал из кювета. Евдокимов резко повернул голову, но рассмотреть не успел – промелькнуло. Потом был лес – зелень и охра и более тусклые краски. Завтра октябрь. Осень, октябрь, не так-то всё плохо. Он совершил поступок. Он даже уважал сам себя, как человека, способного на решительный шаг. Было уютно ехать и уважать самого себя и смотреть вперёд с надеждой («надежда – тра-ля-ля-ля-ля...»), тогда как слякоть за окном, изморось, вон что...

– Полиартрит, – сказала женщина.

– Как? – Евдокимов прислушался.

– Золотые прививки... кто бы подумал... золото под кожу вводить... целый грамм за полгода...

Евдокимов готов был внимать, но женщина вдруг замолчала. Она по-прежнему гладила арбуз на коленях и, судя по движению плеч, продолжала говорить молча.

– Золото, – сказал Евдокимов зачем-то.

Сразу за Лугой автобус остановился. Это ревизор-контролёр в помятом макинтоше проголосовал на обочине. Контролёр (кряхтя) взошёл по ступенькам.

– Хороша погодочка, – сказал он с угрозой в голосе. – Попрошу приготовить билеты.

Водитель пожаловался:

– Рейсы, говорю, отменять надо. Пять человек – смех!

– Вот-вот! – встрепенулась женщина с арбузом. – То ли дело, когда лето, за неделю не достанешь билета!..

Все засмеялись, потому что получилось в рифму. Контролёр проверил и вышел. Евдокимов уснул.

Евдокимов крепко уснул. Он спал, спал, спал, так и проспал до конца дороги.

Проснулся, когда приехали. Евдокимов помог выйти грузной женщине, вынес её арбуз; она в свою очередь любезно указала Евдокимову на гостиницу – двухэтажную деревянную постройку тут же на вокзальной площади.

– Надюша, я тебе гостя привела.

Длинноногая девушка мыла пол.

– А, тётя Катя. – Девушка выпрямилась и потянулась, не

обращая внимания на Евдокимова. – Приехали? Доктора видели?

– Потом, потом... Я к своим побегу. – И уже из-за двери: – Ты его, смотри, не обижай, этого... он хороший.

Евдокимов повесил зонтик на спинку стула.

– А я думал, мест нет. (Он всегда думает.)

– Вот что, – сказала Надя, – вы у меня единственный постоялец. Я сейчас домою пол, это быстро, потом приберу в пятой комнате, а вы погуляйте, ладно?

Евдокимову понравилась такая простота и естественность.

– У меня, собственно, дела в городе.

– Ну и ладно.

Она отжала тряпку и, опустившись на колени (разговор окончен), стала водить ею из стороны в сторону; она так низко наклонила голову, что Евдокимов невольно увидел шейные позвонки и полоску спины, ускользящую под ворот платья. Удивляясь своей наблюдательности, наблюдательный Евдокимов успел различить следы от медицинских банок.

Вечерело. На улице Мелиораторов лежала раздавленная собака. Тарахтел трактор возле конторы ПМК. Дорога вела вниз, поэтому луж не было, ноги сами несли под горку. Аляповатые герои наглядной агитации – рабочий, колхозница, интеллигент – сурово приветствовали Евдокимова с фасада Дома культуры; взявшись за руки, они олицетворя-

ли «ничто», возможно, непобедимость (уж не в борьбе ли с парадностью?), излучали уверенность и оптимизм. Реальные люди тем временем разгружали фургон напротив школы, толпились около городских бань, сидели на дощатых скамейках, покупали капусту с овощного лотка; о чём-то судача, смеясь, с торфозаготовок возвращались женщины в ярких сигнальных жилетах, – они работали на узкоколейке; люди любили друг друга, изменяли друг другу, гуляли парами, расставались, болели, дрались пивными кружками возле ларька, боролись, как умели, с пьянством и самогонованием, читали «Человек и закон», месили бетон, добывали торф, писали письма, давили собак на улице Мелиораторов, несли арбузы племянникам, жили, – жил-был Евдокимов; Евдокимов и жил, и был, – было и странно, и чудно, и здорово быть Евдокимовым, осязать, обонять и видеть действительность, вдохом отвечать на выдох, надеяться, предчувствовать, идти.

Все комнаты первого этажа оказались запертыми. Кто-то нацарапал карандашом на двери библиотеки «Ключ в ухе». УХО, догадался Евдокимов, учётно-художественный отдел или что-то вроде. Он поднялся на второй этаж. Там висели портреты передовиков на особом стенде – план работы Дома культуры. Среди прочего Евдокимов прочёл: «Концерт худ. сам-ти, посвящённый 20-летию подключения пряд. – нит. ком-та к центральному энергоснабжению (для работников треста), отв. Л. Максимова».

В кабинете директора горел свет. Евдокимов постучал и приоткрыл дверь.

Он застал директора в весьма неудобный момент, когда тот («Разрешите войти?») вырывал из подшивки газету.

– Можно? – повторил Евдокимов.

– А? Что?

– Я Евдокимов, – представился Евдокимов с неприличествующей моменту торжественностью. – Управление кинофикации.

Видит бог, он не хотел конфуза.

Но то ли директор был туг на ухо, то ли в голове щёлкнуло что, – он привстал, присел, снова привстал, протянул через стол руку.

– Рад. Очень рад. Рыкачёв. (Пряча газету за бюст Маяковского.)

– Я вот по какому вопросу. У вас работает Любовь Максимова.

– Любовь Максимова, – поспешно рапортовал директор, – наш молодой, квалифицированный и перспективный работник...

– Мне бы хотелось...

– Понимаю, – отвечал Рыкачёв с упреждением. – Охотно объясню ситуацию. В настоящее время все кадры отдела культуры принимают участие в выездном фестивале «Золотая осень». Не далее чем вчера они выехали в поездку по району и до сих пор там. Возвратятся лишь завтра.

Евдокимов расстроился.

– Если хотите, – продолжал директор, – я могу позвонить в Красную Горку. Не знаю, на месте или нет Максимова, но сейчас... сейчас... седьмой час... В семь у них концерт... Возможно, они в клубе.

– Пожалуйста, – попросил Евдокимов.

Директор набрал номер.

– Аллё, – строго сказал он. – Девушка! Мне пятьсот пятьдесят два на счёт сорок, – и более ласково (теперь Евдокимову): – Не секрет если, то по какому поводу?

– По личному поводу.

– Как по личному? – Но тут соединили. – Аллё! Аллё! Красная Горка? Аллё! Клуб? Это кто? Зинаида? Зинаида Васильевна, наши у тебя? Любовь с Алексеем у тебя, спрашиваю? Далеко Максимова? Дай скорее... А? Что? Нет, не читал. Про кого? Про нас? Про меня? Нет, нет, не читал... Ничего не знаю. Не читал, не знаю, нет. – Он протянул трубку Евдокимову. – Нет, нет, – повторил, бледнея, – ничего не знаю...

Настал черед Евдокимова.

– Аллё, Люба? Мне Любу.

– Это я, я слушаю (Люба), с кем говорю?

– Со мной, с Евдокимовым.

– С кем, с кем?

– С Евдокимовым.

– Евдокимов, ты где?

– Я здесь, я к тебе приехал.

– Ты приехал?

– Да, приехал.

– Как здорово!

– Я приехал, а тебя нет.

– Как здорово, что ты приехал!

– А тебя нет.

– Я буду завтра.

– Люба, я приехал к тебе.

– Как хорошо, я рада тебе, ты приехал.

– Что ты говоришь?

– Говорю, ты приехал, я рада.

– Да?

– Очень рада.

– Да, Люба, есть идея, надо посоветоваться, это не телефонный разговор, понимаешь?

– Я очень рада, что ты приехал.

– Я, Люба...

Тут их разъединили.

Евдокимов посмотрел на директора, директор – на Евдокимова. Директор был бледен, Евдокимов взволнован. Каждый думал о своём. Они растерянно пожали друг другу руки. Евдокимов вышел.

Веры, Надежды, Любви, Софии день завершился, и вот...

И вот предстояло убить почти целые сутки. Почти целые

сутки ждать и томиться, не находить себе места. Думать.

Он думал: а всё-таки хорошо, всё-таки это прекрасно, что жизнь умеет быть непредсказуемой. Как замечательно, думал Евдокимов, пересекая городской парк, как необыкновенно. Обыкновенные качели поскрипывали на ветру, и в этом обыкновенном поскрипывании было что-то такое, что тревожило душу, будто напоминало о чём-то. Под забором в кустах лежал гипсовый спортсмен, свергнутый с пьедестала, – переломившийся в пояснице, он протягивал надтреснутый диск Евдокимову: «Здравствуй, ровесник!» На спортсмена падали листья.

Молоденькая продавщица вздохнула укоризненно и включила погромче радио: «Московское время девятнадцать часов...»

Он проскочил в магазин, когда уже закрывались.

– Ишь, трактор, – сказала уборщица.

Зачем-то схватил Герцена (столичный рефлекс)<sup>2</sup>, открыл, просмотрел оглавление. «Буддизм в науке», «Дневник»... Он никогда не увлекался Герценом, он не знал, что Герцен писал о буддизме. Подумав немного, Евдокимов достал трёшку.

Он сидел на телеге за пожарной частью, ел кулебяку. Дети

---

<sup>2</sup> Автору приятно вспомнить провинциальные книжные магазины. В них продавались книги, которые невозможно было купить в городе. Скажем, томик Борхеса (1984), выпущенный ни много ни мало тиражом в 100 000 и стоивший 2 руб. 60 коп., удалось приобрести в Опочке. В посёлке Идрица всегда покупал что-нибудь; теперь там книжного нет.

играли в прятки. Уже отпятнавшийся мальчик звонко кричал в пустоту: «Топор, топор, сиди, как вор!» – другой, тот, что был водой, медленно перемещался между забором и водокачкой, опасливо поглядывая на Евдокимова. Евдокимов сочувствовал ему. «Коза, коза, беги, как гроза!» – закричал отпятнавшийся мальчик.

Стемнело.

Интересно, кто такой Алексей? Какого рожна он потащился с Любой? Почему это «наши» сказал директор? То есть как это их? То есть как это так всё происходит?..

«Официант, дичь!»

И как полжизни назад – смех в зале. Евдокимов ограничился ухмылкой. Он в первом ряду, «с краю» (даром что работает в кинофикации). «А нам всё равно», – пел Никулин. Когда-то они убегали с уроков, чтобы посмотреть по четвёртому разу, – полжизни назад, если не больше... Больше... Господи, время куда так помчалось? Куда?.. Евдокимов обернулся, – кто-то за его спиной упорно повторял папановские выражения, вроде: «Усё понял, шеф», «Усегда готов», «Дитям – мороженое, бабе – цветы», – радостное лицо повторяющего озарялось ответами экрана.

Шёл настоящий ливень. Девицы, выходя из кино, визжали как ненормальные, парни улюлюкали, гоготали, отпускали какие-то шуточки, в общем, царило веселье, – возбуждённые кинозрители, накрывшись кто чем, разбежались в разные стороны, и гремел на полную мощь кассетник.

Евдокимов стоял под навесом. Здесь, на автобусной остановке, светил фонарь. Было холодно Евдокимову. Он не мог понять, почему не взял с собой свитер; зонтик тоже остался в гостинице, на спинке стула, – как-то несолидно всё это... Голоса между тем стихли. Только шумел дождь, да ещё было слышно, как целуются за спиной Евдокимова. До гостиницы одна остановка, но мокнуть ему не хотелось. Он ждал. Автобус не шёл. Те целовались. День натурально кончился. Кончился день. Веры, Надежды, Любви, Софии день завершился дождём. Увальни, что ли, мы все, простофили? Что же ещё-то мы ждём?

Всё прозевали. У моря погоды?

Вот оно что и куда.

Хляби разверзлись. Великие воды.

Воды. Вернее, вода.

Стихотворение вспомнилось так просто, так легко, что Евдокимову показалось на секунду, будто он сам только что сочинил стихотворение. Но сочинил не он, а кто-то другой, напрасно Евдокимов вспоминал кто, потому что, если честно сказать, поэзией он мало интересовался. Он имел хорошую память... Минут через двадцать подошёл автобус.

– А я решила, дела замотали, – сказала Надежда, пропуская в гостиницу.

– Да уж, – сказал Евдокимов.

– Не промок?

– Нет, я старался.

– Надо оформить.

– Я паспорт забыл.

– Плохо.

Она протянула ключ от пятой комнаты.

– В виде исключения.

Евдокимов сказал:

– Спасибо.

Он не сразу открыл дверь, – в коридоре не было лампочек. Наконец вошёл, включил свет, увидел: на столе букет из кленовых листьев, на стене натюрморт с виноградом, четыре аккуратно заправленные кровати, подушки пирожками – красота! Евдокимов плюхнулся, не раздеваясь, на ближайшую койку, вспомнил про Герцена, хотел почитать под шум дождя, но снова поднялся – было холодно, как снаружи. Он отдёрнул занавеску, – так и есть: одна рама застеклена, а другая – нет.

Евдокимов пошёл искать справедливости.

– Надя, Надя, хозяйюшка!

Хозяйюшка стояла возле вахтёрской с отвёрткой в руке, вставляла замок в дверь.

– Ну и ну. И за кастеляншу, и за администратора, и за плотника...

– Я за всех.

– Помочь?

– Спасибо. Сама.

На полу лежали шурупы, несколько штук. Евдокимов ска-

зал:

– У меня стекла в комнате нет.

– С утра было.

– То есть одно есть, а другого нет. Рамы, между прочим, двойные.

– И что?

– Как что? Холодно.

– Мы зяблики? – удивилась Надежда.

– А кто-то есть, кто не зяблик? – спросил Евдокимов.

– Могу дать второе одеяло.

– А что, других комнат не существует?

– В других то же самое. Ремонт скоро.

– Может, всё-таки есть... в виде исключения?

То ли насмешливо, то ли с вызовом:

– Нда?

– Что «нда»? Через час октябрь начнётся.

– Не начнётся. (Что уж совсем вне логики.)

Евдокимов задумался.

– Та-ра-кан, – по слогам произнёс Евдокимов.

– Жужелица, – сказала Надежда и внимательно посмотрела на Евдокимова. Закашлялась вдруг. Он вспомнил про медицинские банки.

– Вот и я простужусь...

– Ничего, – сказала Надежда, когда кашель кончился. –

Двойные рамы только в девятой.

– Хорошо, что в девятой.

– Нда?

Она положила отвёртку на тумбочку и прошла в другой конец коридора. Дверь в ту комнату была приоткрыта.

– Вообще-то это моя комната.

Вахтанг Кикабидзе улыбался с настенного календаря. Лежали спицы на одеяле, клубок ниток, ещё что-то...

– Нравится?

А ты как же? – чуть не спросил Евдокимов.

– А я чайник поставлю.

Утром он уезжал девятичасовым автобусом. Синоптики обещали ясное небо. Евдокимов сел так, чтобы солнце не слепило в пути. Он открыл Герцена. Дневник начинался словами:

«Тридцать лет!.. И хорошо и грустно смотреть назад. Дружба, любовь и внутренняя жизнь искупают многое...»

Он посмотрел в окно. Старичок в форме железнодорожника вёз на тележке тыкву.

«Кто виноват? – подумал Евдокимов. – Что делать?»

1985

# Лунное затмение

Когда вдали угаснет свет дневной  
И в чёрной мгле, склоняющейся к хатам,  
Всё небо заиграет надо мной,  
Как колоссальный движущийся атом,

В который раз томит меня мечта,  
Что где-то там, в другом углу вселенной,  
Такой же сад, и та же темнота,  
И те же звёзды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт  
Стоит в саду и думает с тоскою,  
Зачем его я на исходе лет  
Своей мечтой туманной беспокою.

Посыпалась труха откуда-то сверху, потому что завели мотор на реке, и всё задрожало. Задрезбезжало на пожарном щите ведро, консервная банка съехала на край доски. И снова сделалось тихо. Солнце уже садится. Скоро стемнеет.

– Это Заболоцкий, – говорю я.

Я стряхиваю с коленей древесную стружку.

– Угу, – отвечает Алина.

Без гаечного ключа прикрутить педаль не так-то просто. Когда проезжали пилораму, педаль опять соскочила, – Али-

на чуть не упала. Контргайка потеряна, у конусной гайки повреждена резьба. Я прикручиваю. Алина – она любит эксцентрические жесты – находит удобным лежать спиной на куче опилок.

– Что же вы там наструктурировали? Папа просто в восторге.

– Стихотворного текста анализ, Алина.

Аллитерация. Ассонанс.

Или: «саду и думает», «в другом углу».

Дмитрий Дмитриевич. (Стёганный ватный халат, присланный из Байрам-Али, шлёпанцы, тубетейка, очки на кончике носа.)

Моя стиховедческая работа произвела впечатление. Особенно последняя страница – про Циолковского. Дмитрий Дмитриевич оценил. Он любит парадоксальные параллели. Помнится, у Ахматовой: «три “к” выражают замешательство автора»; так вот: он чуток к космизму. Но я не испытываю замешательства.

Пока мы ездим за молоком, Дмитрий Дмитриевич готовит сырники.

– Я рассмотрел симметрию...

– Угу, – отвечает Алина.

Она обхватила руками колени. (Свитер, джинсы, кроссовки.) Она изображает внимание.

– Видите ли, – объясняю я с нарочитой серьёзностью (худо-бедно, но педаль прикрутилась), – видите ли, в этом заме-

чательном образце медитативной, так сказать, «ночной» лирики, реализуется известная мифологема: человек, оказавшийся наедине с мирозданием в минуту углублённого созерцания неба, ощущает себя как плод фантазии, мечты, тоски своего двойника с «другого конца Вселенной».

Я умею говорить как по писаному. У меня болит голова. Сегодня, однако, она болит меньше. Сегодня меньше, ибо воздух чист. Я рад. Жаль: завтра первая электричка...

– Содержание стихотворения, – продолжаю я профессорским тоном, – во многом определяет его форму. Симметрия задаётся, Алина, чем бы вы думали? – присутствием двух субъектов восприятия. Заметьте, каждый из них мыслится относительно другого как объект. Соответственно симметрична вся картина мира, наблюдаемого как бы с двух сторон.

– Неужели?

– Представьте себе, Алина.

Мы едем на велосипедах. Конечно, она изменилась. За два года, что я не видел её, она сильно изменилась, – и, разумеется, в лучшую сторону. Она стала... стала похожа на своё имя. Все женщины, однако, ходят на свои имена. Возможно, возможно. Особенно с такими именами. «Высокая и стройная. Очень тонкая только... Её можно всю в узел завязать или перегнуть надвое». Это Полина, у Достоевского. Или, вспомним, Ася – у Тургенева... Или, допустим, Лика... Правда, чеховские шутки насчёт полноты... Трудно представить полную Лику. Я не могу представить Лику, но легко

(Лирика – легко) представляю (мы выезжаем на Лесную улицу) двенадцать строк стихотворного текста. Двенадцать строк, три катрена как будто перед глазами, перекрёстные рифмы. Мужские и женские. В основном, точные. Богатые. «Хатам/атом» – строго говоря, неточная при всём своём полнзвучии и «поэт/лет» – тоже неточная, приблизительная, но традиционная рифма – вот и все исключения. А-и-а и е-о-а-о-е! Изящная инструментовка четвёртой и одиннадцатой строк. Абсолютная симметрия! Более того, определённую симметрию обнаруживает и синтаксическая структура стихотворения. Оно начинается и заканчивается придаточным предложением. Если бы восьмой стих кончался не точкой, а запятой, всё стихотворение представляло бы сложноподчинённое предложение, причём главное «в который раз томит меня мечта», занимая одну лишь строку, смещалось относительно середины фразы ближе к началу. Точка, завершающая восьмую строку, обрывает придаточное и даёт возможность начаться новому главному, чем и компенсируется в чисто интонационном плане указанное смещение. В конечном итоге сохраняется относительная симметрия: придаточное (с соподчинением) – главное – придаточное – главное – придаточное...

– Алексей Фёдорович!

– Да?

– Алексей Фёдорович. – И я опять не могу понять, шутя или всерьёз она называет меня по отчеству. – Хотите, после

ужина сходим на берег. Я Каменный Глаз покажу. Сегодня ночь лунная.

– Хочу.

Сегодня ночь лунная. Вчера было затмение. Я не видел. Смеркается.

В мифологическом плане симметрия мыслится относительно звёзд, им соответствует определение «те же», то есть в системе Заболоцкого они абсолютны и едины для обоих миров. Что касается темноты, то она всегда «та же». Сад «такой же» – указание на обыкновенное подобие. Совершенно неконкретен поэт-двойник, он – «какой-нибудь»; в то же время ему, двойнику, следует быть конкретным, определённым: это двойник именно этого поэта, ощущающего его как двойника. Следовательно, на словосочетание «какой-нибудь поэт» отчасти ложится печать самооценки земного – «такой же, но один из многих».

Не слезая с велосипеда, я закрываю калитку.

– Приехали.

На крыльце стоит Дмитрий Дмитриевич. В руке он держит веник.

– Ах, папа. (Алина идёт к рукомойнику.)

Дмитрий Дмитриевич беспокоится: он увидел опилки на спине у Алины. (Я плохо отряхивал.)

– Ничего не случилось?

– Педаль, папа, – одно мучение.

Он сочувствует. Алина просит цитрамон для Алексея Фё-

доровича. Я отказываюсь. Уже не болит. Спасибо. Но вот что было. Приходила соседка, пока мы ездили за молоком, и Дмитрий Дмитриевич узнал новость: сегодня раскопали Морщина. Эксгумация. Фотограф на кладбище, комиссия.

– Ужас. Месяц как похоронили. Говорят, отравлен.

– Простите, я не знаю, кто такой Морщин.

– Директор универсама. Мафия.

Ужинаем на веранде. Говорим о мафии. О моей аспирантуре. О жмуриках. Полуфольклорный рассказ о перезахоронении Гоголя.

Я анекдот рассказываю – из рода филологических. Заменяю в последней фразе опорное слово мимическим эвфемизмом: беззвучно, но энергично шевелю губами.

Дмитрий Дмитриевич хохочет (анекдот смешной).

Алина снисходительно улыбается.

– Я вот что хотел сказать, – сказал Дмитрий Дмитриевич, успокоившись. – Называйте вещи своими именами. Вы тут, Алексей, пишете: синтаксический ряд, члены которого расположены в порядке возрастания значимости... Зачем? Это же название имеет. Вы что, не знаете?

– Знаю, климакс.

– Так и пишете: климакс. Обыкновенный стиховедческий термин. Климакс он и есть климакс.

– Хорошо, климакс.

– И потом, оппозиции... которые, по-вашему, уравнивают друг друга... Знаете, не убедительно.

– Парадигма...

– Боже, как скучно, – вздыхает Алина.

Кто-то пробежал по саду.

– Ч-ч-ч!

Мы прислушиваемся. Некоторое время вглядываемся в темноту, но свет на веранде мешает рассмотреть, что происходит за окнами. Я вижу своё отражение.

– Абракас крыс ловит.

Абракас убежал в малинник.

– Нет, Александра, ты не права. – Дмитрий Дмитриевич назидательно поднимает палец. – Вовсе даже не скучно. Смотри, какой интересный конец. – Он берёт в руки мою статью. Сейчас он будет читать последнюю страницу. – Ты только послушай, Александра.

Алина слушает.

– Пользуясь в основном традиционными средствами выразительности, – с выражением читает Дмитрий Дмитриевич, – и пренебрегая внешними эффектами, Заболоцкий, однако, допускает довольно-таки смелое сравнение: «...небо... как колоссальный движущийся атом». Выразительность его ещё более подчёркивается фоном, создаваемым постоянными эпитетами: «свет дневной», «чёрная мгла», «красота нетленная»... – Дмитрий Дмитриевич задумывается, он добавляет от себя: – «мечта туманная»...

– «Мечта туманная», – подтверждаю я, и Дмитрий Дмитриевич продолжает:

– Это сравнение интересно тем, что в противоположность планетарной модели атома, созданной по подобию Солнечной системы, в сознании Заболоцкого сам миропорядок строится по образцу атома. Для Заболоцкого, так же как для Циолковского (слушай, Алина!), слово «атом» является сакраментальным. В письме к Циолковскому поэт постоянно сопрягает понятие «атом» с понятием «жизнь», «смерть», «бессмертие». «...Атомы, составляющие моё тело, разбредутся по Вселенной». «...Атом... проникается жизнью... организма и начинает думать...». «Атом... разрушается точно так же, как разрушаюсь (умираю) я». «Не бессмертны ни человек, ни атом». Видимо, в этом контексте и следует понимать несколько необычный образ. Своеобразная симметрия наблюдается и здесь – на сей раз по отношению к учению Циолковского. Для Циолковского человек – это «государство атомов», вечность и неделимость атома – залог бессмертия и «блаженства» человека. Заболоцкий, не принимая идею о «блаженстве нас самих», отмечал «блаженство нашего материала в других, более совершенных организациях будущего». «Колоссальный движущийся атом», с которым ассоциируется в сознании поэта звёздное небо, символизирует вечную, абсолютную организацию, блаженную в своём совершенстве, и человек – лишь её частица!

– Bravo! – восклицает Алина. – Алексей Фёдорович способен на пафос.

Она убирает посуду. Мы будем играть в «блошки». Всем

раздаются «блошки» – каждому свой цвет – пластмассовые кружочки, похожие на пуговицы. Одним кружочком нажимаешь на другой – тот прыгает. «Ходим» по очереди. Нужно «съесть» кружочки противника, то есть накрыть их своими.

Дмитрий Дмитриевич любит нелепые игры – он слишком учёный.

– Папа (когда первый круг кончился), мы хотели с Алексеем Фёдоровичем сходить на берег.

Дмитрий Дмитриевич испугался:

– На какой берег?

– Видите ли, Алина обещала показать мне Каменный Глаз.

– Бросьте, бросьте, ребята. Уже темно. Ты что, Алина? Алексею вставать рано. Не ходите, Алёша. Самая игра пошла. Так редко видимся.

– Какая дурацкая игра! – возмущается Александра Дмитриевна, но делает свой ход.

Играет она рискованно – стреляет издалека, часто мимо. Дмитрий Дмитриевич равно расчётлив как и азартен. Моя ставка – на ошибки противника.

Глупые «блошки» прыгают по белоснежной скатерти.

– Кстати, о звёздах. Вы видели затмение?

– Нет, не видел.

– А мы видели.

– Тенденцию к образованию симметричных структур, – говорю я, – можно проследить на последовательности оппозиций.

– Совершенно правильно, – соглашается Дмитрий Дмитриевич и тут же предлагает первый член ряда: – «Свет дневной – чёрная мгла»...

– «В другом углу... такой же сад», – продолжаю я.

– «И та же темнота, – говорит Дмитрий Дмитриевич, – и те же звёзды»...

Алина:

– Лунное затмение – солнечный удар.

– Этого нет в тексте, – хмурится Дмитрий Дмитриевич.

– «Солнечный удар», – говорю я, – это рассказ Бунина.

– Вот именно. – Алина встаёт из-за стола. – Я уйду. Спокойной ночи.

И действительно уходит. А мы остаёмся. Дмитрий Дмитриевич делит её кружочки на двоих, но интерес к игре пропадает.

– Трудно мне с ней.

Он ещё хочет что-то сказать – не решается.

– Вы не смейтесь, Алёша. Я вам вопрос задам, можно?

– Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич.

Слышно, как Алина бьёт комаров за стеной.

– У меня заскок, Алексей. Просто ум за разум какой-то...

Только вы не смейтесь, хорошо?

– Хорошо, не буду.

– Я про затмение. Весь день вчера думал... Откуда оно берётся?

– Что? Затмение? – Право, несообразительность Дмитрия

Дмитриевича меня удивила. – Ну, как же, – говорю я, слегка шокированный, – это очень просто. Луна, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию...

– Вот-вот, в одну линию... Тень, полутень... Я понимаю. Но тогда объясните мне, как месяц образуется? А? Как месяц-то получается?

– Какой месяц?

– Обыкновенный месяц на небе. Была луна... круглая. И вдруг месяц!

– Да вы что, Дмитрий Дмитриевич? Падает тень от Земли на Луну, вот вам и месяц.

– Согласен, что падает. А вы нарисуйте. Не получится.

Беру бумагу, рисую. Похоже, не получается.

– Подождите, сейчас получится.

Рисую.

– Луна, она, Алёша, за ночь по всему небосклону проходит. А месяц всё тот же. Вы полагаете, Луна тень земную отслеживает? Так, что ли?

– Нет... это не Луна тень, а тень на Луну...

– Подождите, вы не понимаете меня. Сосредоточьтесь. Луна ночью передвигается по небосклону? Или нет, не передвигается?

– Естественно, передвигается... Луна вращается вокруг Земли.

– Вот! Так что же, выходит, тень от Земли вокруг Земли вместе с Луной вращается?

– То есть как?

– Ну, если месяц это часть Луны, не заслонённая тенью от Земли, да?., и если в течение ночи по мере его движения по небосклону он сохраняет свою форму, что это значит?., значит тень от Земли вместе с ним вокруг Земли вращается?

– С месяцем?

– Ну!

– По-вашему, Луна тень от Земли притягивает?

– А по-вашему?

– Тут должна быть какая-то компенсация.

– А когда месяц и солнце вместе на небе бывают? Вы видели такое, Алёша? Месяц и солнце?

– Месяц и солнце? Нет, не видел.

– Ну как же, ну утром часто... С одной стороны солнце светит, а с другой ещё месяц виден... Бывает?

– Да, очень часто бывает.

– Откуда же тень от Земли берётся? Если солнце и месяц вместе видны. Вон туда смотрю – солнце, туда – месяц!

– Тут, наверное, что-то отсвечивает...

– Господи, что вы говорите, Алёша?..

– Земля... Луна...

– Тень-то откуда?

– Откуда?

– Вот она, загадка.

Сплю. Нет, ещё не сплю, а лежу с открытыми глазами. Я вижу узкую полосу неба, недозадёрнутую занавеской. Там

звезда. Крохотная колючая звезда, размазанная по стеклу. В стекло бьётся мотылёк. Наверху колобродит Алина. Я слышу её шаги. Открывает окно. Не поддаётся рама. Только в седьмом и восьмом стихе глухой звук «т» используется восемь раз. Это придаёт фонетическую окраску центральному образу «звёзды».

Такой же сад, и та же темнота,  
И те же звёзды в красоте нетленной.

Ночь, луна, земля, тень... Я что-то не понял. Я не понимаю, как образуется месяц. Что-то. Что-то очень, очень простое.

1985

## Тут на горе...

Три года тому назад на свет появился Радостный. Обладая замечательными экстерьерными качествами, как то: просторным лбом, большими поблёскивающими глазами, ровной спиной, глубокой грудью, крепкими ногами, пружинистой кожей, мягкой, почти что нежной щетиной, особенно на ушах, тонких и едва ль не прозрачных, и, что тем более важно для хряков, отлично развитыми семенными железами (не говоря уже о безупречном заде без видимого крутосклона в верхней части крестца), хряк Радостный имеет в числе предков благородного Хистона-Боба. Хистон-Боб, а полное его официальное имя Хистон-Боб 27 НВ 69135 покрыл в своё время Ньюхолл-Сократ 370 НВ 195950 – свиноматку, высоко ценимую в Англии. Будучи купленной советскими селекционерами, свиноматка Ньюхолл-Сократ опоросилась в наших краях, с именем её сына Свата 97 (339 кг во взрослом состоянии) связывают появление особой линии в крупной белой породе свиней, так называемую линию Свата. Хорошо известны молодые потомки Свата, ценные прежде всего в племенном отношении, есть среди них и рекордисты породы, и чемпионы сельскохозяйственных выставок. Один из многочисленных сыновей «девяносто седьмого» был передан колхозу «Высокое», где уже находились матки брейтовской породы свиней, доставленные сюда из-под Ярослав-

ля. В марте тридцать шестого на свет появляется Радостный, чьи замечательные качества скоро восхитят специалистов. В тридцать девятом о свинарке-стахановке Антонине Быстровой пишет статью Владимир Павловский, а в нынешнем, со-роковом, Виктор Ласточка сам едет туда, в передовой колхоз «Высокое», он едет поездом, вернее уже подъезжает, молодой корреспондент, без году неделя работающий в газете, он листает блокнот, просматривает записи по свиноводству, изучает родословную хряка Радостного. И радостно на душе у Виктора Ласточки – это первая его командировка.

Между тем снаружи холод собачий. Не то чтобы был мороз, конечно же, не мороз, но для середины июля ощутимо нежарко. Мерзопакостная дождливость располагает к сонливости, – большинство пассажиров дремотствует, им не мешают ни плач ребёнка, ни переборы гармоники в тамбуре (кто-то разучивает плясовую). Старый и малый, что везут куда-то пчелиный улей, снова затеяли разговор о медоносе: «Липа, смотрю, цвeсть не начинается по такой сырости». – «Брось, батя, куда она денется?» – «Думаешь, зацветёт?» – «Зацветёт, думаю». И Ласточка тоже смотрит в окно, думая, впрочем, о другом, не о липах, тем более что за окном, кажется, ёлки. По ногам дует. Кашляет проводник за стенкой. Генеалогическое древо племенного хряка напоминает родословные богов Древней Греции. Кронос и Рея родили Зевса, Гера от Зевса родила Ареса. У Ареса сын Эрос. Ласточка убирает блокнот в карман брюк. Эрос – бог любви. Переезд,

семафор, бараки. Пора собираться.

Поезд стоит недолго. Не успел Ласточка отойти от вагонов, как дежурный по станции дважды ударил в колокол. Двое вышли – он, Виктор Ласточка, да ещё один гражданин, держащий под мышкой двуручную пилу, будто живую рыбу, – гражданин шагает по деревянной платформе, и рыба, завёрнутая в бумагу, бьёт хвостом; больше никто не выходит, а потому нет нужды встречающему зыркать по сторонам глазами, ища корреспондента:

– Это вы из газеты?

– Я, – говорит Виктор Ласточка. – Я корреспондент Виктор Ласточка.

Тот нехотя представляется:

– Егорыч.

И всю дорогу до «Высокого» будет казаться Ласточке, что Егорыч нарочно скрыл от него своё имя.

Если сказать по-честному, в области свиноводства Ласточка даже не дилетант, а гораздо хуже. (Правда, сейчас в этом он себе ни за что не признается.) Живых свиней он видел, пожалуй, только в детстве, когда отдыхал в деревне, да ещё прошлой осенью на ВСХВ, куда ходил вместе с Павловским. Владимир Петрович фотографировал чемпиона Всесоюзной сельскохозяйственной и дал заметку в номер. Ласточка присутствовал лишь за компанию. Увиденное поразило Ласточку. Особенно хряки (серьёзно!). Он и представить себе не мог, какими сказочно огромными, здоровенны-

ми бывают эти невообразимые существа. Даже теперь, когда организаторы прошлогодней выставки подверглись принципиальной критике за недостаточно научный подход к отбору лучших наших достижений, он не может освободиться от впечатления исключительности и неповторимости. Что же касается колхоза «Высокое», то ровно год назад Павловский привёз оттуда помимо статьи об Антонине Быстровой ещё и частушку:

Приезжал корреспондент,  
задавал вопросы,  
как стремительно растут  
наши опоросы.

Павловский любил петь эту частушку, потому что она была сочинена прямо у него на глазах, и он первый, кто частушку услышал (а вовсе не потому, что она правильно характеризовала стиль работы Павловского). А ещё он привёз жёваную-пережёванную, трёпаную-перетрёпанную брошюру профессора Стаховского «Уход за свиноматками и поросятами (для малограмотных)», – выпустило брошюру в 1931 году одно уже несуществующее издательство с очень длинным и сложным названием. «На, – сказал Павловский, – изучай, библиографическая редкость».

Шутки шутками (а Павловский любил подшутить над Виктором), но в глазах Быстровой корреспондент Ласточка действительно хотел выглядеть специалистом. Конечно, это

мальчишество. Именно мальчишество: в детстве он много натерпелся из-за своей причудливой фамилии, оттого, быть может, и воспиталась в нём тяга к солидности и основательности. Увы, то, что ценит в себе Ласточка как основательность, есть попросту избыточное знание частных деталей. Имея весьма приблизительное представление о таком, например, предмете, каким является навоз – настоящий навоз! – он легко усвоил из литературы, что по ряду причин навозом не следует утеплять стены свинарников; или, допустим, что хряков необходимо выгуливать каждый день и купать в речке; или, к примеру, что должен быть микроскоп на ветеринарном пункте для ежемесячной проверки спермы производителей. Сейчас он мог бы, не моргнув глазом, спросить Антонину Быстрову: «А как вы боретесь с яловостью маток? А даёте ли вы железо малокровным поросятам? А в каких пропорциях?» В свой журналистский блокнот он выписывал «полезные» слова, вроде «отъёмыш» и «супоросная», – могут пригодиться ему в разговоре.

– А что, Радостный прибавляет в весе?

Вместо ответа Егорыч натягивает посильнее вожжи, – кобыла ровнее пошла, она кивает головой, не переставая, а на повороте ведёт мордой в сторону, будто хочет обернуться, чтобы посмотреть на Ласточку. Ласточка, поёживаясь на ветру, поднимает воротник рубашки. С листьев деревьев срываются дождевые капли – ветер порывист.

– Я не свинарь, – отозвался Егорыч. – Я конюх колхозный.

Но, но, мил ай!..

В том-то и трудность, что «но, но, милай!..». В том-то и трудность... А то, что репортаж в газету или заметку, статью – это дело несложное. Но не стал бы Ласточка так готовиться к этой поездке, если бы тем всё и кончилось. Нельзя упускать возможности. Он способен на большее. Он сам не знает, на что он способен, во что это выльется... В крупный, быть может, проблемный очерк о судьбах колхозной деревни. Или в рассказ. Да, пожалуй, в рассказ. Не в газету, конечно, а как придётся... в журнал, если получится. Или что-нибудь путевое – ни слова неправды. Едет в деревню корреспондент... В том-то и трудность, что едет корреспондент.

Сотни едут. Корреспондент в деревне. И каждого встречают на станции, и каждый третий «но, но, милай» слышит, потому что дальше надо на лошади, и лошадиный зад у каждого перед глазами маячит, и хвост – тут уж как ни изобразишь, с чем ни сравнивай, ново не будет (а как не заметишь всё это, если самое что ни на есть заметное?). Или Егорыч: вот он, Егорыч, вожакою по сапогу похлестывает в такт лошадиному шагу, – так ведь что из этого? Не он же один, и до него похлестывали, и не Ласточка один это заметил. Нужно настраиваться на неповторимое, на то, что другие мимо глаз пропустят или увидят не так, по-другому. Лес над головой, как огонь зелёный. (Плохо.) Тот человек на станции, а под мышкой пила, как живая рыба. Пила как рыба. То есть не пила, как рыба, не глагол «пила», а то получилась дву-

смысленность... Двуручная пила, как живая рыба. Ласточка любит прозу Олеси. Он вообще многих любит. И Сергея Малашкина, и... Ну да ладно. Он глядит на ватник Егорыча. Недавно читал у одного автора – тоже про журналиста, и тоже встречаются на станции, а тот, кто встречает, в «огненно-диком тулупе». Это же образ, «огненно-дикий тулуп»... Образности не хватает.

Лес кончился. Поле.

– «Высокое», – объявляет Егорыч.

Церковь, избы, внизу – коровник, на коровнике – ветряк. Село действительно расположилось на возвышенности.

– А где свиноферма?

– Дак то в ту сторону, – говорит Егорыч, указуя рукой туда, «в ту сторону», в сторону рощи осиновой. – Авонаси-насно-но-но-но!

И без того невнятный возглас Егорыча заглушается тележным скрипом – поднимаются в гору, проходит немало времени, прежде чем Ласточка распознаёт в неказистом сооружении, торчащем из-за деревьев, силосную башню.

– Высокая, – говорит Ласточка.

Товарищ Яровцев жмёт ему руку. Парторг. «Доехали-то как? Как, хорошо ли доехали?» – «Просто отлично, – отвечает Ласточка, – отлично доехал!» – «А у нас тут дожди. В Москве тоже, наверно, дожди, как погода?» – «Был дождь, когда уезжал, несильный был». – «А я был прошлым годом в Москве, – говорит Яровцев, – нет, в позапрошлом... это ко-

гда Карлу Марксу сто двадцать лет отмечали... это, значит, май месяц был, да?» – «Да, май был, – говорит Ласточка, – пятое мая».

Он вытирает ноги о вязаный половик. Он ещё не преодолел целиком смущение. Минуту назад, когда соскочили с телеги, – а Ласточка как-никак в ботинках калининской фабрики, с этаким рантом, шнурками светлыми, – получилось как-то неловко. Яровцев Пётр Кузьмич, встречая их на крыльце, резко остановил тогда торопливого Егорыча: «Погодь, погодь, под ноги смотри», – на что Егорыч отреагировал бормотанием: «Эк я вам брючину-то...» – делая шаг по направлению к Ласточке. Тут Ласточка и вообразил себе, что сейчас ему будут штаны отряхивать, – он отшатнулся от Егорыча и напугал в свою очередь лошадь. «Тпр-ру, окаянная, тпрру. Вы, товарищ корреспондент, сюда ступайте, тут сухо». Подоспел сам Яровцев – протянул руку Ласточке.

– Доехали-то как, хорошо ли доехали? (Тогда-то и спросил, как доехали.)

– Просто отлично, – сказал Ласточка, – отлично доехал.

Оба сидят за столом.

**ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ! СОБИРАЙТЕ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ!**

– Места у вас очень славные, – говорит Ласточка.

**СДАВАЙТЕ СОБРАННУЮ ШЕРСТЬ-ЛИНЬКУ НА СКЛАДЫ СЕЛЬПО И РАЙПОТРЕБСОЮЗА!**

Пётр Кузьмич, проследив за ласточкиным взглядом, тоже смотрит на выцветший плакат:

– Коровью и конскую, – поясняет Яровцев.

Ласточка интересуется:

– Дорого стоит?

– Коровья пять сорок... Конская, боюсь наврать... три с чем-то... не сдавал... три с полтиной, кажется...

Ласточка понимающе кивает.

– Хозяйство у нас на сорок пять процентов свиноводческое, вы знаете. Что до успехов, таку меня кой-что выписано для вас... сто шесть деловых, значит... а то завтра давайте, лучше не сегодня про это... ни зоотехника сегодня, ни председателя, день трудный... поговорить... и вы с дороги...

– Нет-нет, я ничего.

– Сто шесть деловых поросят от девяти маток... за прошлый год... это одна бригада... а я в целом по хозяйству... за прошлый год восемьдесят четыре центнера живого веса, и ещё в план этого года сдали, значит, авансная сдача получается... тридцать шесть голов... Так что, смотрите, снизилось то, что это всё не считается в этом году, потому что снизилось, у нас всего, стал быть, тридцать голов, а наоборот, рост, потому что считается авансная сдача за этот, как за тот, в счёт мясаготовок... в выполнение плана, правильно? Так ведь?

– Так, так, – говорит Ласточка.

– Если бы не отход... но мы с ним серьёзно, с отходом...

Яловость и отход враг номер один... карандаш, осторожно!...  
Передовиков назову: Грачёва, Матвеева...

Он называет фамилии. Ласточка уже поднял карандаш с пола и теперь не знает, записывать или нет; пожалуй, ещё рано, пожалуй, нечего ещё записывать, успеется, и, чтобы не смущать парторга и самому не смущаться, он рукой накрывает блокнот. Всё от неопытности: и чувство скованности от неопытности, и эти кивки головой, будто бы с пониманием, и то, что на лице сосредоточенность отражается, основательность, поневоле закрепощающая собеседника, – всё от неопытности и очень мешает Ласточке, он сам это понимает, но ведь как-то надо слушать, смотреть, давать понять, что всё правильно, что согласен, так надо. Нужно быть проще. Необходимо дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозной собственности. В третьей сталинской пятилетке поголовье свиней увеличится на сто процентов. Помните, Молотов на восемнадцатом съезде партии... Теперь это уже не тот Яровцев, что кричал только что «погодь, погодь» копотливому конюху, это совсем другой человек, внимательный, сосредоточенный, отвечающий за свои слова, помогающий жестами рук выговариваться своим словам – медлительным, неповоротливым, единственно необходимым.

Кроме всего прочего, Ласточка сидит спиной к двери, он не может никак понять, кто там так часто заглядывает в комнату; робость заглядывающего он объясняет своим при-

сутствием, отчего испытывает ещё большую неловкость и неуверенность. Вместе с тем Ласточка примечает уверенность хозяйственной бабы Тани (Яровцев так и представил: баба Таня, двести трудодней, хотя и болела два месяца), домовито погромыхивающей за тонкой перегородкой. Чем она там погромыхивает?

Ухватом. По ряду признаков Ласточка догадывается, что его сейчас будут кормить, он спешит поинтересоваться насчёт Антонины Быстровой, подготовила ли она своего Радостного к сельскохозяйственной выставке, – ведь он должен быть в конце июля отправлен в Москву, потому что профилактический карантин объявлен с первого августа, – но не успевает грамматически верно построить вопрос и запинается на полуслове. Пётр Кузьмич тем временем, как бы продолжая свою мысль о росте свинопоголовья, но уже не словами, а свободным жестом руки, замирает, останавливает движение ладони по воздуху, ждёт секунду и, быстро опустив ладонь на колено, отрывисто произносит:

– Конечно.

Тут-то и происходят всякого рода перемещения, передвижения, вставания и опускания опять на стул, в результате чего Ласточка должен взять в руку ложку, в другую кусок хлеба и есть горячие щи со сметаной и пить парное молоко, совсем ещё тёплое. Яровцев удалился, чтобы не отвлекать Ласточку, и Ласточка ест один. На тарелке прихотливый рисунок – ветка сирени.

Потом ему вручают кирзовые сапоги, специально для него припасённые, и ведут через всё «Высокое» в отведённые для него апартаменты – большой, с виду богатый дом напротив бывшей церкви, в этом доме, говорит Яровцев, осенью будет школа.

Будет хорошо в этом доме, он будет один, никто не будет мешать Ласточке думать. Печь натоплена. За этим столом товарищ корреспондент сможет работать, записывать мысли. Баба Таня принесёт поесть, она рядом, если надо что, перейти только на ту сторону, вон в той избе у колодца. А сейчас, наверное, прикорнуть, на часок? Нет? Она какая перина. А то порыбачить. Рыба хорошая водится: язь, плотва, подлещик...

Как же, как же, Ласточке надо идти на ферму. Ласточка сразу хочет пойти и увидеть своими глазами... Сразу. Зачем же сразу с дороги? До фермы километра три, да ещё по грязи. И нет председателя. А дождь? Дождь хлынет, дождь, такая погода. Лучше завтра, с утра. Завтра и председатель будет, и все. А куда же сегодня? Куда же сегодня?

Один. Он сидит на лавке.

Надо бы записать первые впечатления, но особых впечатлений, кажется, нет, как нет особого смысла в том разговоре, что он сейчас повторяет. Яровцев. Пётр Кузьмич Яровцев. Его лицо. Ласточка пытается подобрать эпитет к лицу Яровцева. Оно «волевое». Волевой подбородок, с ложбинкой. Глубокие складки на лбу. Выражение глаз. Только глаза

он, между прочим, отводит. Чего это он глаза-то отводит? Смотрит куда-то в сторону. Что-то в нём есть не такое – такое... Волевое.

А кровать аккуратно заправлена, так аккуратно, что подойти страшно, не то чтобы лечь. И потом вот что сбивает – запах, чуть уловимый запах... онто уж совсем не отвечает идее командировки – пахнет ладаном.

Ладаном!..

В соседней комнате на стене висит портрет Тимирязева. На столе глобус, чернильницы-непроливайки, в коробке – мелки. И ещё, опять-таки школьное: карта-схема за сундуком притулилась – Ледового побоища. Наша победа над немцами. Кстати, свиньёй, – немцы тогда построили свои ряды свиньёй, вспоминает Ласточка. Он осматривает дом. Сени, пустая кладовка, лесенка, упирающаяся в потолок, у каждой ступеньки свой поскрип. Поскрип, хорошее слово. Он приподнимает дверь-потолочину, хочет заглянуть на чердак, что там на чердаке. Мать-Богородица! Богородица там на иконе. Целый склад икон, штук двадцать. Разные. Есть в рост человека. Он ходит по чердаку. Битая под ногами посуда, знакомый рисунок – ветка сирени. Книги валяются. Ласточка берёт самую толстую. Библия. Он никогда не держал в руках настоящую Библию. Двенадцатое издание, девятьсот шестнадцатый год, он смотрит на титул: старинная, с ятями. Вот и Молитвослов с ятями, этот нетолстый. И другая, нетолстая, тоже Библия, только для детей, часть вторая, с картинками,

странно...

Странно-то странно, только надо помнить о деле.

Надо идти к Быстровой. Самому.

Что за придурь такая терять зря время?

Он спускается вниз.

Выходит на крыльцо. Никакого дождя не предвидится, глупости. Он в замешательстве.

– Здравствуйте. Зовут меня Лиза. Я покажу, где лисички, белых ещё нет, идёмте, а лисички...

Одну корзину протягивает ему, другую оставляет себе. Это уже не похоже на явь, это сон какой-то.

Лиза.

Ведомый, а ведут его тропинкой вдоль берега, он убеждается с каждым шагом, как сильна над ним власть опеки. Он понимает, что никакой себе здесь не хозяин, – где ж твоя самостоятельность, Ласточка? Нет её. Таинственная необходимость исподволь, ненавязчиво требует подчиниться, и он подчиняется. Подчиняться всегда досадно, но не только досадно Ласточке: то беспокойством, то почему-то вдруг радостью отзывается запах кипрея, сумрачность неба, стынь, близость бегущей воды. Он ещё пытается сделать так, чтобы выражение независимости на его лице было б заметным, он произносит слова, как бы желая знакомству придать качество непринуждённости, называет чуть-чуть с вопросительной интонацией то, что видит: «Колодец... (дескать, колодец), – туча... (дескать, туча), – яма какая... (вот, мол, какая

яма)» – будто подбирает их, эти слова, для будущей прозы. Лиза неразговорчива, она идёт впереди. Косынка на ней голубая. «А дерево как обгорело. Тополь».

– Прошлым летом ударило, – говорит Лиза.

Из-под ног вылетают ласточки, но гнёзд их не видно. Берег уж очень крут – это обрыв.

– Вы это как, Лиза, что? – спрашивает Ласточка, пугаясь вопроса.

– А я в ночь работаю, – отвечает Лиза.

Они спустились в ольшаник.

– Я хотел спросить, вы кто? – Он имеет в виду род занятий: свинарка, звеньевая, пастух...

– Я Шамякина.

– Шамякина? Так это ваш отец председатель? А где ж Фёдор... Федот... Федот Васильевич?

– Он, может, не будет с неделю...

– Как не будет? Будет.

– Может, не будет, не знаю.

– Да нет, должен быть.

Идут по полю. Ласточка задумчив. Что-то не так.

– А что, Лиза, кто в этом доме жил?

– В каком доме?

– Ну, где я живу.

– Священник жил, отец Павел звали.

– А где сейчас живёт?

– Не знаю, не живёт больше.

По грибы, по ягоды...

– А Быстрова где живёт, Антонина?

– Тонька? Её не будет сегодня.

– Почему не будет, Лиза? Я ж к ней приехал.

– У ней брат в Березовке болеет.

– А как же я?

– У ней брат в Березовке.

– Лиза!

– Ай?

– Лиза, куда мы идём?

– В бор. Если вам мокро, давайте воротимся. Или устали.

– Я не устал.

– Вон, сыроежку не видите.

– Странно.

Странно. «Приезжал корреспондент, задавал вопросы, задавал вопросы он всё про опоросы...»

– ...А дальше, а дальше? – пытается Ласточка.

– А дальше, – продолжает рассказывать Шемякина Лиза (впрочем, без особого энтузиазма), – в один их загон. Только сейчас так не делают.

– Почему не делают?

– Не делают. Вы не пишите об этом.

– Я не буду. Я так, для себя.

– Для себя ладно. В один загон выпускают. Они поначалу помяться должны.

– Что сделать?

– Помяться. Бой у них будет. Они как разделятся парами, тут же друг дружку в низ живота, а клыков нет, удалёны. С клыками насмерть дерутся, а тут, без клыков, кто первый устанет. Устал – значит, в сторону, и визжит, что побили. А кто сильнее, тот с другим, тоже сильным. А потом двое останутся, кто за главного, таких надо водой из ведра обливать, самых здоровых, до часу дерутся...

– Водой-то зачем?

– Чтобы сердечко не лопнуло. А то перегреются.

– Ну, победил один, а дальше что?

– Всё.

– Вместе живут?

– Могут вместе. Знают, кто главный – не дерутся. Спокойные.

– А как же клыки удаляют? Они ведь – подойти страшно.

– Дак это с верёвкой. В рот надо петлю засунуть, ну петля, знаете? и затянуть, чтобы за нос, а другой конец к столбу или к дереву. Он верёвку натянет, а куда денешься? Ногами упрётся и встанет как вкопанный, тут-то пасть у него сама и откроется. (Лиза смеётся.) Знай да пили.

– А чем пилят?

– Ножовкой.

– Страсти какие.

– Какие страсти! Даже не пикнет.

Ласточка пьёт молоко. На очереди картошка с луком. Завтра баба Таня принесёт ему утром солянку, что-то гриб-

ное. Всё, что нашёл, отдал приготовить Лизе. Он выписывает слова: «Лифостротон. Аваддон. Хризолит». Надо расширять словарный запас, мало ли о чём придётся писать. «Диадема. Скиния. Пакибытие. Перстный». Забыл спросить, есть ли у них на селе ячейка воинствующих безбожников.

А в детской книжке все картинки раскрашены фиолетовым карандашом. И Лазарь убогий, и блудница, и апостолы в лодке – все фиолетовые, и парус, и само море, и поросята на горе. За окнами темно. Мышка скребётся под полом. Сверчок. Всё как надо в деревне.

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил войти в них». Это он уже где-то читал. Может всё пригодиться. Он выписывает.

«...Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло».

Ну да, известное место.

Ласточка смотрит в окно: думает.

Был такой случай, кажется, под Новгородом (слышано от Павловского). Секретарь одного из райкомов столкнулся с трудностями: шёл сбор денег по подписке на заём укрепления обороны, и не всё ладилось. Вызвался подсобить поп местного прихода, он просил, чтобы ему разрешили пройти по деревням с крестным ходом. Ему не препятствовали. Прошёлся, распространил облигации. Тут-то их всех и к ногтю – и секретаря, и служителя культа.

Лёжа в постели, Ласточка вспоминает другой случай вре-

дительства. В остоевском племхозе кормили свиноматок мёрзлой картошкой, чтобы спровоцировать выкидыш. И это, когда по всей стране развернулось движение за два опороса в год. Что же я опять про свиней, укоряет себя засыпающий Ласточка, а где же люди живые? И он вспоминает Лизу. Лиза. Лиза. Её глаза. Глаза Лизы. Он пытается подобрать эпитет – не подбирает. А мысли путаются. Ласточка слышит, как медленно пробирается вверх по дороге, грохоча бортами, грузовая машина. Не открывая глаз, он чувствует прилив света в комнату от скользящих фар; ему и тепло, и уютно, и немного обидно: ведь есть же грузовик, а послали подводу. Он спит.

Ему ничего не снится. Наступает утро.

Утром Ласточку будят. Он ещё не понял, где он и что его будят, но понимает, что день будет солнечный – так ярко в глазах.

– Вставайте, Виктор Сергеевич, вставайте. Вы что дверь не закрываете?

Их двое. Первого он признаёт по известной ему примете – глубокому шраму ещё, как он слышал, с Гражданской. Это председатель колхоза товарищ Шамякин, тот самый. Второй стоит за спиной у первого.

– Виктор Сергеевич, простите, что так оно получилось. Вам если справку, не знаю, или что надо куда, то мы пожал оста...

– Куда ж ему справка, – говорит второй, стоящий за спиной Шамякина, – там знают...

– Что знают? – не понимает Ласточка.

– Беда у нас, Виктор Сергеевич, вы извините, что я вчера... не до вас было.

– Что было?

– Радостный околел.

– Как околел? Когда?

– Дак я говорю, вчера околел. Вот Савченко, ветеринар, я не представил...

– Вы как приехали, – говорит ветеринар, выступая из-за спины Шамякина, – как приехали, уже он, ясно всё, думали... Думали к полудню, а тут до ночи... Ну, разберёмся.

– Разберёмся, разберёмся, не думайте. – И оба глядят на Ласточку, ожидая от него каких-то решительных действий.

Решительно Ласточка не понимает, что делать. Он приподнимается слегка на кровати, но свесить голые ноги вниз кажется ему неприличным. В комнату ворвалась муха через открытую дверь и ударилась лбом о стекло. Он спрашивает лишь бы спросить:

– Сап, наверное? (Другие болезни на ум не приходят.)

– Откуль сап-то у свиньи? То ж лошадиное...

– А что, им и люди болеют.

– Не, лошадиное...

– Болеют, болеют, я читал.

– Крайне редко. Это когда в лимфу попадёт... когда в лимфу через оболочку слизистую... В моей практике...

– Подожди ты с практикой, – перебил ветеринара Шамя-

кин. – Я, Виктор Сергеевич, вам о чём? Я вам о том, не вовремя вы к нам приехали. Вы уж извините нас. Вы бы обратно, а? Зачем вам тут, а?..

– Так мне... с Быстровой надо, я с Быстровой должен, с Антониной...

– Беда, Виктор Сергеевич, беда у нас. Племенной хряк... лучший в области... на него заявка утверждена, в Москву, нахряка-то нашего... К нам, знаете, уполномоченный выехал, такое дело, Виктор Сергеевич, а?

– Да-да, – говорит Ласточка, – такое дело.

– Пожалоста. Тут машина стоит, акурат к поезду будет... Поспеете. Не до вас, честное слово, не до вас, вы уж не обесудьте... пожалоста...

Облако.

Облако, оно плывёт над дорогой. А верно: день будет солнечным. Сразу за хлебопекарней растёт липа, вся она в жёлтую крапинку, она зацветает. Ласточку то качает, то бросает из стороны в сторону, рядом сидящий водитель, такой же молодой, как Ласточка, ругает колдобины. Потом водитель молчит. И Ласточка тоже молчит. Едут молча.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.